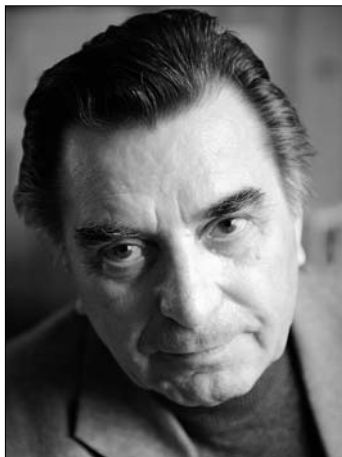


ВЯЧЕСЛАВ ЩЕПОТКИН



КРИК СОВЫ ПЕРЕД КОНЦОМ СЕЗОНА

РОМАН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

— Лыжи в дом не носите, — остановил раскрасневшийся егерь двух охотников, уже поднявшихся было на ступеньки с лыжами в руках. — Отпотеют и плохо завтра пойдут.

— Ты што, Адольф! — вступился за товарищей Нестеренко, чернобровый, с крупными чертами лица молодой мужчина в белом полушубке. — В этой избе тараканы друг к другу примёрзли.

Сам он только что прислонил лыжи к тёмной бревенчатой стене дома и на всякий случай даже воткнул их в снег. Остальные тоже ставили лыжи снаружи, переговаривались о неудачном дне, о вымирающей деревне, где осталось, судя по дымам из труб, пять или шесть жилых изб попеременно с десятком брошенных, по-старушечьи наохливших под белыми платками снега домов. Некоторые из покинутых изб светлели досками-заколотками. Но на большинстве домов и эти доски посерели, растрескались. Стены раздуло изнутри, как ствол ружья, забитый перед выстрелом грязью. Избы припали, какая на один, а какая сразу на два угла, и казалось, поднавали на них нынешняя обильная зима ещё снега — не выдержат дома, рухнут.

ЩЕПОТКИН Вячеслав Иванович — журналист, публицист, прозаик. Живёт и работает в Москве. В “Нашем современнике” печатается не впервые.

В тексте романа сохранена разговорная орфография автора.

Утром, уходя по сумеркам на лыжах к лесу, городские были возбуждены предстоящей охотой. Поэтому деревню прошли махом, хотя на лыжи становились всего несколько раз в году. Но на обратном пути то один, то другой вдруг приостанавливался, глядел на волны снега, под которыми угадывались основания когда-то существовавших построек, и цепочка людей с ружьями замирала.

Когда подошли к дому, в котором ночевали, тоже покинутому, Нестеренко спросил Адольфа:

— Молодые-то здесь живут?

— Откуда! — удивился егерь, смахивая с валенок широкие охотничьи лыжи. Они покатились, и одна за другой воткнулись в сугроб у стены дома. — Кому она такая жисть нужна? Видел, как мы вчера добирались?

Вчера их сюда от ближайшей деревни, где они оставили свои легковые машины, привезли на тракторной тележке. “Беларусь” качался, как баркас в штормовом море. Мужчины валились друг на друга, холодели от лёгкого страха и ухали в темноте.

— Валерка! — вдруг закричал егерь одному из своих охотников-подручных, который вдалеке что-то рассказывал городскому — мужчине с пышными усами и потным разгорячённым лицом. — Человека остудишь!

Городской снял шапку. От влажных волос шёл пар. Алое солнце садилось сзади них, и казалось, голова городского розовато дымится. На крик егеря они не обратили внимания. Теперь усатый что-то показывал Валерке в поле, и тот, вытянув шею, всматривался вдалё.

— Володя! Волков! — крикнул Нестеренко. — Шапку надень!

— Кабанов, что ль, увидали? — заволновался Адольф. Он был мордаст, с маленькими умными глазками, которые то и дело как бы посмеивались над чем-то. Замусоленные до брони рукава фуфайки были коротки, из них далеко высовывались красные кулаки. Рукавиц егерь не носил и в самый лютой мороз. Знакомясь, приветливо хватал протянутую руку и, пока не заканчивал представление, не отпускал её. А представлялся он концертно. Назвав своё имя, с интересом смотрел в лицо человека. Реакция не заставляла себя ждать. Народ, хотя и давно переживший войну с немцами, хорошо помнил некоего Адольфа. Тем более что в последнее время о нём говорили часто, обсуждая, не Советский ли Союз виноват в начале войны с Германией? Поэтому кто возгласом, кто взглядом выдавали невольное удивление. И тогда егерь, делая вид, будто его не расслышали, громко повторял своё имя. “Адольф! Тёзка Гитлера — знаете такого?” Маленькие глазки посмеивались, но теперь уже с вызовом и настороженно. Люди с наигранной бодростью хлопали егеря по плечу, а через некоторое время замешательство первых минут, в самом деле, забывалось. Однако Нестеренко после знакомства с егерем вдруг подумал, как тяжело, наверное, приходилось Адольфу, когда он был ещё не матёрым мужиком, властным и знающим себе цену, а ранимым мальчишкой послевоенной поры. В народе умеют давать клички, обидные до слёз, а тут само имя звучало хуже клички.

С Адольфом трое городских охотились второй раз. Первый раз — три недели назад, когда кончался отстрел лосей. В прежнем месте, куда компания ездила последние несколько лет, что-то не складывалось. Заболел старший егерь — сипел по телефону, как будто его душили; двое из пятерых не смогли ехать, и тогда Нестеренко, Волков и Фетисов решили открыть новое место. Нестеренкин знакомый дал адрес Адольфа и даже попробовал через какой-то склад, рядом с которым жил егерь, дозвониться до него. Не дозвонился, но Адольф, тем не менее, встретил троих с готовностью — похоже, он был чем-то обязан нестеренкиному знакомому.

Лосей отстреляли легко — их тут было много, а заодно уговорились, что приедут в этот же район за кабаном. “Возьмём, — сказал Адольф. — Только в другом месте”.

Прошагав на лыжах километров восемь, сделав два загона, охотники без выстрела вернулись в деревушку, где ночевали. У них оставался ещё один день — последний день охотничьего сезона на кабанов.

Но несмотря на пустые хлопоты, пятеро городских не переживали. Адольф и два местных охотника — не то приятели егеря, не то его помощники — были уверены, что завтра кабана возьмут.

— Мы нынче как на разведку ходили, — сказал егерь Волкову, тому высокому усатому мужчине, оглядываясь на него в дверях избы. Волков повесил ружьё в коридоре, и теперь извивался, чтобы снять патронташ. Нестеренко помог ему. Через распахнутую дверь было видно, как в избе уже выкладывают на стол еду маленький Игорь Николаевич Фетисов и товарищ Волкова, толстый врач Карабанов. Собственно говоря, все пятеро были близкими приятелями, хотя встречались, в основном, на охоте. Жили в одном крупном подмосковном городе, оказавшемся в конгломерате ещё нескольких таких же городов военно-космической ориентации, Фетисов — даже по соседству с инженером-электриком Нестеренко, имели, естественно, каждый своих знакомых и товарищей, но когда приходила трудная минута, вспоминали, прежде всего, о тех, с кем охотились. На них попавший в беду мог рассчитывать, как хромой на посох. При этом помогать старались буднично, избегая пафосных слов. Если появлялась возможность смягчить ситуацию иронией или шуткой, не упускали случая. А в обычной обстановке придумать какой-нибудь “прикол” вообще считалось в порядке вещей. Особенно неистощим был Нестеренко. Сняв с Волкова патронташ, он тут же сунул его вошедшему в коридор пятому охотнику — худощавому мужчине с глубоко запавшими глазами.

— Подержи, Паша, — с тревожным лицом сказал товарищу. — Надо Волкова внести.

Тот молча, с удивлением уставился на чернобрового. Мол, что случилось? Нестеренко озабоченно покачал головой:

— Видишь? Патронташ не может снять. Совсем ослабел парень. А ты, Адольф, валенки с негоними.

Егерь засмеялся и прошёл в избу. Там уже почти был готов стол. Фетисов быстрыми, как у всех маленьких, движениями дорезал хлеб. Один из товарищей Адольфа — Валерка — выкладывал из своего рюкзака варёную лосятину, луковицы, полиэтиленовый пакет с насыпанными туда кубиками сахара. Другой — мрачноватый мужик с красными белками глаз — растапливал печку. Не дожидаясь, когда она даст тепло, сели за шаткий стол и налили, как полагаются. Когда все притолкались, Карабанов поднял стакан.

— Выпьем, мужики, за подаренный кабанам лишний день жизни.

Он работал хирургом в городской больнице. Короткие толстые пальцы были цепки, глаза из-под набрякших век смотрели остро.

— Наши от нас не уйдут, — захрустел твёрдым солёным огурцом Адольф. — Не то стреляйте меня завтра замест кабана.

— Ну, если на Володю Волкова или на Пашу Слешцова выйдут, то не уйдут, — согласился, морщась от водки, Карабанов. — Это такие убивцы.

Голос у него был сишный — доктор простыл на митинге “Демократической России” недели три назад. Когда трое товарищей ездили на охоту, он лежал с температурой в постели, и хотя недавно вышел на работу, горло не мог вылечить до сих пор. Откусив холодного огурца, закашлялся, отвислые щёки его покраснели, и на большом лбу выступила испарина. Из всей компании одному Фетисову — товароведу универсальной базы — катило под пятьдесят. Остальные были почти ровесники: по 37–38 лет. Но если на большинство людей жизнь ставит свои отметины с мало-мальски подходящей точностью, то в этой компании она кое-что перепутала. Тучный, губастый, с поредевшими темными волосами Карабанов выглядел старше своих лет, а ровеснику доктора — стройному и холёному учителю Волкову — никто не давал даже его возраста.

— Смех смехом, — оживился Волков, вытирая усы, — а в прошлый раз охота накрылась для всей честной компании.

— Испортил он нам всю “малину”, Сергей, — сказал Нестеренко Карабанову, показывая пальцем на Волкова. — За двадцать минут уложил двух коров и оставил нас без выстрела...

— Вот видишь, Адольф! Не связывайся с ними. Отдай кабана.

— Отдам. Хоть три. У нас у самих две лицензии не закрыто. Но ведь ты скажи, какая хитрая животная пошла. Сейчас таятся, на кормёжку идут ночью... А вот, скажем, послезавтра уже — иди по лесу, и кабан тебя не боится. Как будто знает, что на них сезон кончился. Пережили опасные дни, и бывший враг — нынешний друг.

— Газеты, наверно, читают, — заявил Нестеренко, ища глазами, обо что бы сорвать металлическую пробку на бутылке с минеральной водой.

— Дёрни об стол, — подсказал Паша Слепцов.

— Нащёт газет — не знаю, — поморщился егерь. — Их если сегодня читать — сумашедшим станешь. Я думаю, природа приспособливается. Выжить-то надо! И среди зверей есть люди. Сображают.

— Не ко всему нужно приспособливаться, — вдруг раздался невнятный и быстрый говорок Фетисова. — Говорю директору: посадят, дурак. А он уже врагом смотрит.

Все поглядели в сторону Фетисова. Даже Адольф успел заметить, что товаровед — самый незаметный в городской компании. Говорил он мало, едва слышно и торопливо, как человек, давно понявший, что его в любой момент могут перебить, что слушатели тут же повернутся на сильный уверенный голос, мгновенно забыв и о самом Фетисове, и о том, что он говорил. Поэтому Игорь Николаевич особо не встречал в разговоры, никого не перебивал; если между товарищами разгорались страсти, он только стеснительно шурился и время от времени быстрым движением протирал острую лысинку. Уловив сейчас редкую минуту внимания, он заговорил слышнее, однако по-прежнему торопясь.

— Срок годности — он не вечный. Портится товар... Две машины отвезли в лес... Люди видят... но молчат. А на меня смотрит, как на врага народа. Хотя недавно были друзьями.

— Потерпи, Игорь. Скоро будем наводить порядок, — сурово успокоил Нестеренко. — А раньше времени высунешься — голову оторвут.

И добавил остальным, тронув крупные губы улыбкой:

— Шибанёт, как током. Будем мы грудку пепла на охоту носить.

— Ты его слушай, Игорь Николаич, — с иронией подтолкнул Фетисова сухолицый Павел Слепцов, и во впадинах-глазницах колыхнулась нетёплая усмешка. — Где электричество, там Андрей спец.

— А может, как раз не надо слушать, — посерьёзнев, сказал Волков. — Давно пора во весь голос говорить... Называть вещи своими именами. Совсем вразное дело идёт! Страны ведь, мужики, не останутся!

Нестеренко недовольно мотнул головой.

— Хочешь своего человека в пасть кинуть? Сожрут. У демократов острые клыки. Это мы уже видим. Поэтому надо подождать! В дамках тот, кто умеет ждать.

Он замолчал, думая о чём-то явно нездешнем. Потом пристально поглядел на Волкова.

— Плохо, если и ребят не учишь солдатской выдержке. Тебе сам Бог велел делать из них бойцов. Недолго осталось... Скинут “пятнистого”. Нельзя больше эту тварь ... А пока говорю вам: на-до по-до-ждать!

— Нада, нада, — усмехнулся егерь. — Свет надо включить. Как сычи в темноте сидим.

Тут только заметили, что в избе посумрачнело и в то же время потеплело от печки, распахнутый зев которой багровел тлеющими углями. Адольф поднялся и включил свет. Из-за стола вылез красноглазый мужик. Посмотрел в корзину для дров — она была пустой, пошёл в коридор за поленьями. Волков присел на корточки к печке, подвинул уголёк и осторожно, чтоб не опалить усы, прикурил.

— Я ребят учу языку, — сказал он, вставая. — Французскому языку.

— Хороший язык, — откликнулся Карабанов. — Хотя будущее за английским. Перемены к нам придут с английским языком.

И твёрдым тоном добавил:

— Мы все будем говорить по-английски. Очень скоро.

Слепцов открыл новую бутылку водки и, по-вороньи скосив голову, стал разливать.

— Ф-фу! Мне нравится немецкий.

Наклонился к Нестеренке и неожиданно гаркнул ему в ухо:

— Хэндэ хох!

Тот отшатнулся, едва не упав с табуретки.

— Обалдел, что ль? — замахнулся электрик на товарища. — Хóхнуть бы тебе по ушам, да своих нельзя трогать.

— А ты, Валерка, какой язык любишь? — спросил Адольф, и на широком красном лице его огоньками засветились глазки.

— Я уважаю говаяжий!

В избе грохнули так, что красноглазый мужик, открывший в этот момент дверь, чуть не выронил корзину с дровами.

— Ну, чего вы? — обиделся Валерка. У него было узкое, как будто пропущенное через валки прокатного стана лицо, над которым дыбились прово- лочно-жёсткие волосы. — Говаяжий с хреном....

— Сам ты хрен, — сквозь смех выговорил егерь. — Ты когда его последний раз ел?

— Давно. Поэтому уважаю.

— Да не об том языке говорят.

— А-а, — смял понятливой улыбкой узкое лицо Валерка. — Эт как у нас на фабрике был поммастера — Альберт. Но мы его звали Федя.

Тут все вообще зашлись от смеха, а Фетисов даже упал на плечо Карабанова.

— Да честно я вам говорю! — сердито крикнул Валерка. — Спросите у Николая.

Но второй подручный егеря только вытирал слёзы и ничего не мог сказать.

— Вот так у нас всё и получается, — успокаиваясь, заговорил Карабанов. — Обещают Альберта — приходит Федя. Не страна, а полное дерьмо.

Нестеренко резко оборвал смех.

— Ты что имеешь в виду? — процедил он, и глаза его, только что блестящие от веселья, как мокрый чернослив, сухо уставились на доктора. Волков понял: сейчас снова вспыхнет тот обжигающий и неприятный спор, без которого в последнее время редко проходила каждая их встреча, когда они оказывались впятером. Ещё недавно близкие друг другу люди, терпеливые к мнениям и шуткам товарищей, часто соглашавшиеся по поводу больших и малых недостатков советской действительности, они стали быстро раздражаться от самых безобидных по вчерашним меркам оценок и суждений. Когда-то инженер-электрик Нестеренко сравнил их всех с электродами для дуговой сварки. К каждому тянется свой питающий кабель, у каждого гудит свой аппарат, подающий ток. Но если раньше все аппараты были настроены на создание некоей дуги объединения, то теперь словно кто-то специально их разрегулировал, и электрические вспышки чаще не соединяли разное в общее, а с болью прожигали соединительную ткань.

А как неплохо всё начиналось несколько лет назад!

Глава вторая

Появление нового Генерального секретаря Горбачёва каждый из них встретил с интересом. Насторожился только Слепцов. Раза два заговаривал про какой-то знак свыше, но товарищи посмеялись, и он больше этой темы не касался. Согласен был, что новый “вождь” выгодно отличается от прежних: молодой, энергичный, не сидит в Москве, говорит без бумажки — это нравилось. И хотя он говорил те же слова, которые люди давно привыкли пропускать мимо ушей — о развитии социализме, о борьбе с бюрократией и волокитой, об улучшении жизни народа — однако теперь от них повеяло свежестью. У многих даже появилась надежда на скорые перемены, потому что застой последних лет, казалось, проник во все поры жизни.

Тот динамизм советской экономики, науки, общественных отношений, которым было отмечено взлётное время конца 50-х — первой половины 70-х годов, постепенно остывал. Это не означало, что Советский Союз оставался в своём развитии. По многим показателям советская индустрия, опираясь на достаточно развитую науку, шла нога в ногу с лидерами мирового промышленного развития, а кое в чём даже обгоняла их.

Однако развивались разные отрасли неодинаково. Военно-промышленный комплекс и другие наукоёмкие сферы могли состязаться с зарубежьем не только по интеллектуальной насыщенности производства, но и по производительности труда. В других сегментах экономики производительность всё сильнее отставала от мировых показателей. Станочный парк устаревал морально и физически, обновление его шло медленно. Ручной, малоэффективный труд преобладал там, где в развитых странах работала современная техника.

В позднебрежневское время были предприняты попытки поднять производительность труда и его эффективность благодаря достижениям научно-технической революции. Но в целом темпы экономического развития всё явнее замедлялись. Причины были разные. И негибкий командно-плановый каркас, где каждой отрасли, заводу, цеху отводились жёсткие рамки, за пределы которых выйти было нельзя. И тотальное распределение ресурсов “от Москвы до самых до окраин”, не оставляющее места экономической инициативе. И отсутствие конкуренции как способа предъявить обществу лучший по качеству и эффективный по себестоимости товар.

Причины переплетались одна с другой, усиливали друг друга, порождали новые, те — следующие, и этот ком становился всё тяжелее. Так бывает, когда дети скатывают из влажного снега шар для туловища снеговика и не замечают момента, когда шар уже с большим трудом удаётся сдвинуть с места.

На внутренние причины накладывались внешние. Одной из них стал ввод советских войск в Афганистан в 1979 году.

Афганская война не только сильно испортила имидж СССР в глазах и западных европейцев, и, особенно, мусульманского мира. Она требовала значительных материальных затрат: три-четыре миллиарда долларов сгорали ежегодно в пламени неоднозначно воспринимаемой в народе войны.

Параллельно в это же время Советский Союз стал тратить на спасение коммунистического режима в Польше. Наделав долгов ради красивой жизни “как на Западе”, Польская народная республика в 1981 году должна была заплатить 7 миллиардов долларов в счёт погашения кредитов и 3 с половиной миллиарда — по процентам. Отказ от платежей означал прекращение новых кредитов, а это вело к быстрому и полному разрушению экономики страны. СССР выделил Польше 4 с половиной миллиарда долларов, да ещё дал в долг большое количество нефти, газа, хлопка.

Между тем, самому Советскому Союзу как раз в это время эти миллиарды были очень нужны! Разыграв исламскую карту, Соединённые Штаты добились от богатейшей Саудовской Аравии не только активной помощи моджахедам в Афганистане, но и её согласия как ведущего члена ОПЕК на резкое снижение стоимости нефти: с 30 долларов за баррель в начале 80-х до 12-ти в 1986 году. Это уменьшало доходы СССР ещё на 10 миллиардов долларов в год.

Но если тяжёлая индустрия, пусть с нарастающим замедлением, всё же справлялась со своими обязанностями, этого нельзя было сказать о сельском хозяйстве, о лёгкой и перерабатывающей промышленности. О тех отраслях, которые должны были в достатке обеспечить страну продовольствием и всевозможными товарами народного потребления. А именно от этих отраслей и, прежде всего, от агропрома зависит каждый день настроение людей, их оценка действий власти.

Сказать, что причиной была нехватка денег или сама колхозно-совхозная форма хозяйствования, нельзя. Для села выделялись большие средства — на строительство производственных и социальных объектов, на закупку техники: тракторов, комбайнов, автомашин. Да и форма хозяйствования показывала далеко не единичные примеры удачной работы. В стране было

немало богатейших колхозов и совхозов, где люди жили в достатке, имели хорошее жильё, покупали машины, дорогую бытовую технику, работая при этом весьма эффективно.

Однако общая картина была удручающей. Отчасти сказывались климатические условия — с 1969 года по 1984-й в Советском Союзе было восемь неурожайных лет. Причём три из них шли подряд — 79-й, 80-й и 81-й. Если в 1978 году было собрано 237 миллионов тонн зерна, то в 1984-м — лишь 173 миллиона. Поскольку нормой считается иметь на человека одну тонну зерна в год, а СССР тогда насчитывал 274 миллиона жителей, то видно, какой возник дефицит.

Но природно-климатические факторы были не единственной причиной низкой отдачи сельского хозяйства. Важным тормозом стало отсутствие мобилизующих стимулов работать лучше других. Поэтому, несмотря на вливание огромных денег, сельское хозяйство оставалось малоэффективной отраслью.

Ситуацию усугубляли расхлябанность и массовая безответственность. Лозунг: “Всё вокруг колхозное — всё вокруг моё”, если когда-то и заставлял людей беречь общее добро, то никак не во времена “развитого социализма”. В эти годы он, наоборот, стал оправданием растащивки, наплевательского отношения к общим ценностям и результатам коллективного труда. Отсюда брали начало невероятные для других стран потери выращенной продукции. Охотничья компания видела это в разных местах. В Астраханской и Волгоградской областях, куда мужчины ездили на охоту и рыбалку в конце лета, часть помидорных плантаций не успевали убирать до начала озимой пахоты. Чтобы очистить место, бульдозеры гребли красное месиво из помидоров куда придётся. На Ярославщине, в Смоленской и Костромской областях в полях оставался необранным картофель, а тот, который выкапывали, зачастую лежал в буртах под дождями и снегом.

Собранное и доставленное на базы тоже не всё доходило до потребителя. Здесь также многое гнивало и выбрасывалось. В итоге в целом по стране пропадала примерно треть овощей, до 40 процентов картофеля. Немало терялось мясной и молочной продукции. А ведь на производство всего этого тратились большие материальные и людские ресурсы.

Положение в сельскохозяйственной отрасли, в производстве товаров народного потребления, в обеспечении людей продуктами и предметами первой необходимости наглядней всего показывало, что река советской экономики кое-где уже не течёт, а превращается в застойное водохранилище. Заработная плата и доходы населения росли, что было несомненным достижением социалистической системы, однако отоварить их, как говорили экономисты, было всё труднее.

И действовали здесь факторы не только экономического характера. Хозяйственное переплеталось с идеологическим, моральное — с безразличным, целеустремлённое — с наплевательским. Выделить какой-то фактор как главный, отбросив остальные в число второстепенных, было бы не очень правильно. Одно и то же явление в разных обстоятельствах действует по-разному. Для пешехода заноза в пятке — это остановка движения, а для всадника — только боль, когда заденешь. Тем не менее, многие в обществе склонялись к мысли, что переход страны с быстрого бега на шаркающий шаг — это, не в последнюю очередь, результат так называемой кадрово-политической стабильности.

Провозглашённый Леонидом Брежневым вскоре после прихода к власти в 1964 году принцип “бережного отношения к кадрам” встретил одобрение не только у партийно-государственной элиты, но и в народе. Стране надоело вздрагивать от сумасбродных авантюр жирного хитрованца Хрущёва. То он режет существующие хозяйственно-экономические связи и соединяет несоединимое в рамках совнархозов. То в одной области вводит должности двух первых секретарей обкомов: по промышленности и по селу, создавая ситуацию двух медведей в одной берлоге. То привозит из Америки “кукурузную панацею” и заставляет широко её применять. Стараясь угодить импульсивному, раздражительному и всё более раздуваемому от самовеличия “доро-

тому Никите Сергеевичу”, партийно-хозяйственные клеветы пытались сеять “царицу южных широт” даже за Полярным кругом.

То он бросается на новую борьбу с церковью, дорубившая оставшиеся после погрома большевиками-предшественниками. То рубит частные сады, душил свирепыми налогами личные подсобные хозяйства, объявляя всему миру, что в 1980 году в Советском Союзе будет построен коммунизм и частная собственность станет не нужна.

После сумасбродств “колобка в соломенной шляпе” (одна из кличек Хрущёва в народе) весёлое добродушие чернобрового красавца Брежнева наполняло людей оптимизмом, желанием работать с засученными рукавами, но без нервотрёпки. Именно на брежневское время приходится наивысший подъём экономики Советского Союза. Но и тогда же — к концу брежневских лет — начинается его стагнация.

Бережное отношение к кадрам означало долгую их несменяемость. А это, в свою очередь, вело к уверенности, что всё сойдёт с рук. Только какие-то сверхординарные причины могли заставить отступить от этого принципа. Если не раздражаешь вышестоящее руководство критикой и опасными предложениями, не попался с шумным скандалом на “аморалке”, берёшь подношения по чину и докладываешь наверх о благополучии на вверенной тебе территории или в отрасли, можешь быть спокойным за своё будущее. Даже если “благополучие” достигнуто путём приписок и статистического обмана, а “опасные предложения” могли бы стать альтернативой каменеющему консерватизму.

Эти правила быстро усвоили на всех этажах государственного здания, дополняя и расцветывая их местным орнаментом. В республиках Средней Азии партгосноменклатура стала возрождать байство. В Казахстане вспомнили о родоплеменном делении на жузы. В Закавказье и Предкавказье расцвело куначество. Даже в славянской элите, обычно разрозненной, появилось кумовство.

Всё это обильно удобряло почву для коррупции, двойной морали, пережорждения. Общество охватили апатия, цинизм и равнодушие, что только усиливало прогрессирующую болезнь экономического и социального организма страны.

В ноябре 1982 года тяжело больной Брежнев умер. Его пост Генерального секретаря ЦК Компартии занял Юрий Андропов. Это с удовлетворением встретили не только здоровые силы в партии, но и большинство народа. Люди ждали перемен и наведения порядка, а кто, как не Андропов, по мнению широких масс, мог лучше других справиться с этим. Пятнадцать лет он возглавлял КГБ СССР, оставив должность Председателя лишь за полгода до смерти Брежнева, а в стране многие с уважением относились к этой структуре.

Уже первые выступления нового руководителя выгодно отличали его от предшественника: ясная, грамотная речь вместо брежневского косноязычия, единственная звезда Героя Соцтруда на костюме вместо иконостаса наград у “дорогого Леонида Ильича”, равнодушие к лести и роскоши, нетерпимость к казнокрадству и взяточничеству, честное признание трудностей, в которых оказалась страна, — всё это вскоре увидели и услышали жаждущие перемен люди.

Андропов начал с наведения элементарного порядка и законности. Чтобы поднять трудовую дисциплину, остановить прогулы и опоздания на работу, в городах начались рейды милиции. На дневных сеансах в кинотеатрах, в универмагах, в различных ателье и мастерских у людей проверяли документы, выясняли, где человек должен быть в это время. Прогульщиц охватила паника. Самые злостные из них боялись выйти из дома, но большинство — от греха подальше — перестали прогуливать и опаздывать на работу. Страна подтянулась, побрилась, завязала шнурки и надела галстук.

Кампания по наведению порядка и дисциплины сразу принесла ошеломляющие результаты. Уже за первый квартал 1983 года, то есть через какие-то три-четыре месяца, объём производства в Советском Союзе вырос на 6 процентов. Одно это показало, какие резервы перед тем расплылись.

Одновременно Андропов вернулся к расследованию многих коррупционных дел, связанных с высшей номенклатурой, которые до того вынужден был свернуть по требованию брежневского окружения.

Но он понимал, что эти меры — лишь подступы к более серьёзному лечению государства. Требовались кардинальные перемены в экономике, в организации производства. Сами понятия “перестройка” и “ускорение”, сказанные тогда в узком кругу, появились именно в короткий период андроповского руководства страной.

Выход из стагнации Андропов видел в многоукладности экономики. Зная жизнь теневого бизнеса в СССР, изучив открытую экономику восточноевропейских социалистических стран, он видел, что частный сектор может эффективно работать в сфере обслуживания, в лёгкой промышленности, частично — в сельском хозяйстве. И тут ближе всего ему была модель реформ, которая уже осуществлялась Дэн Сяопином в Китае. Смысл китайской модели состоял в том, чтобы, сохраняя политический строй, вести постепенное внедрение рыночных отношений именно в тех отраслях, которые должны обеспечить людей продуктами питания, бытовыми услугами, всей гаммой товаров народного потребления. Причём развиваться рыночная сфера должна под надёжной защитой и при поддержке государства, сурово пресекающего рэкет, казнокрадство и коррупцию.

Некоторые учёные-консультанты предлагали Андропову начать с демократизации политической системы. Но он резко ответил: “Сначала надо накормить и одеть людей”.

Понимая, что излечение хронических болезней государства требует времени, он торопился быстрее запустить механизмы экономических перемен. Спешил ещё и потому, что сам был тяжело болен. Вдобавок к давно мучающему его почечному диабету, он в 1981 году в Афганистане заболел азиатским гриппом, который дал осложнения.

Врачи обещали ему 5–6 лет жизни, и Андропов, исходя из этих сроков, составил план реформирования экономики и социальной жизни страны путём широкого внедрения хозрасчётных методов, расширения самостоятельности предприятий при одновременном повышении персональной ответственности и дисциплины.

Но прожить ему удалось недолго. В феврале 1984-го “советский Дэн Сяопин” умер, успев только наметить ориентиры вывода Советского Союза из застоя и кризиса.

Не все жалели об этой потере. За 15 месяцев своего правления Андропов сменил 37 первых секретарей обкомов, 18 союзных министров, провёл чистку партийного и государственного аппарата, органов внутренних дел и госбезопасности. Отказался приближать к себе бывшего посла в Канаде и будущего идеолога демократов Александра Яковлева. Однажды заявил (без подробных объяснений), что тот слишком долго — 10 лет — прожил в капиталистической стране. В другой раз высказался определённое, назвав Яковлева антисоветчиком. Уже к осени 1983 года разочаровался в Горбачёве, которого поначалу выделял за молодость и энергию. Теперь он увидел в нём верхоглядство, амбициозность, любовь к славословию в свой адрес.

Однако в широких массах к смерти Андропова отнеслись по-другому. В России издавна повелось: если внезапно умирает правитель, которого народ отметил уважением, значит, его убили. Именно так многие и расценили смерть Андропова.

Ни предыдущий, ни следующий генсек такой оценки не заслужили. Сменивший Андропова и правивший ещё меньше (11 месяцев) Константин Черненко сразу получил прозвище “живой труп”. Он не мог дойти от президиума до трибуны, чтобы не остановиться отдышаться. К избирательной урне для голосования на глазах миллионов телезрителей его вели под руки. Тусклая, бесцветная личность, единственной заслугой которой была близость к Брежневу, словно специально был он вытасчен историей для эффектного появления после него Михаила Горбачёва.

Но те надежды, с которыми люди встретили приход к власти Горбачёва, вскоре сменились у кого — тревогой, у кого — раздражением. Шаг за ша-

гом он расплывал кредит доверия, и спустя короткое время от первоначального обожания осталась лишь труха. Те, кто требовал демократии, отвергли его за медлительность и нерешительные, на их взгляд, действия по демократизации общества. Разочарованные, они толпами переходили к Ельцину, которому подсказали, на чём можно сыграть, и он обещал демократии сколько угодно.

Коммунисты возненавидели Горбачёва за предательство интересов партии, сдачу позиций и отступление перед экстремистами, назвавшими себя демократами. А основная масса народа, кому, по распространённому тогдашнему выражению, были “до лампочки” и те, и другие, ругала Горбачёва за разрушающуюся на глазах жизнь: дефицит большинства товаров, очереди за всем, что требовалось каждый день.

Больней всего люди реагировали на продуктовый паралич. Еду не покупали, а “доставали”, её не продавали, а “выбрасывали”. Слова: “Бегите в магазин, там “выбросили” колбасу (котлеты, сыр, масло, конфеты)” вызывали не радость, а раздражение. Поэтому, прежде чем ответить на вопрос Нестеренко: “Что ты имеешь в виду?”, — Карабанов показал рукой на стол:

— Ты посмотри, как мы живём! Достойно это человека? Если б не Пашина “кормушка”, не подарки мне от больных и не база Фетисова, мы бы ели сейчас только лосятину с кислой капустой. Вот это я имею в виду. Нашу жизнь... и государство наше... поганое.

В этот момент Фетисов, ещё не остывший от внимания к себе, снова быстро заговорил:

— Машину увезти, сами понимаете, не две палки колбасы списать. А он, дурак, ничё не боится.

— Подожди ты со своей колбасой, — перебил его Нестеренко. — Тут нам доктор опять заведёт про Америку. Он признаёт только одно государство.

Год назад, также зимой, Карабанов улетел с женой в Соединённые Штаты. Перед тем в Союзе побывал двоюродный брат Сергея Марк. За несколько лет до того он с матерью и отцом эмигрировал в Израиль. Но семья Марка, как многие из рвавшихся якобы в “землю обетованную” евреев, даже не тронулась в ту сторону, а повернула в США. Компания, за исключением Волкова, Марка не видела. Однако столько о нём слышала от доктора, что каждый мысленно нарисовал себе его портрет. Для Нестеренки он почему-то был похож на Карабанова — толстый, губастый, только волосы не редкие, а густые, курчавые.

Вернулся из Штатов Сергей другим человеком.

— Старик! Карабаса нам подменили, — с растерянной усмешкой сказал Нестеренко Волкову после первой же встречи с доктором на весенней охоте. И в его словах было не столько шутки, сколько недоумённой тревоги: как будто доктора действительно в Америке клонировали и прислали лишь внешне похожее на Карабанова человека. Сергей, и до того глядевший на советскую жизнь критически, теперь использовал каждую раздражающую мелочь окружающего бытия, чтобы подчеркнуть уродливое несовершенство страны. Он всё сравнивал с тем, что увидел в Соединённых Штатах сам и что слышал теперь от новых знакомых на собраниях неизвестного ему раньше Института демократизации. Туда его пригласили телефонным звонком сразу после возвращения, и он регулярно ходил в затрапезный “красный уголок” картонажной фабрики, где проводил свои собрания Института.

На каждом таком собрании выступал какой-нибудь человек, который, как его представляли, только что приехал “оттуда” — из США, Канады, Западной Европы. Однако до Карабанова очередь почему-то всё не доходила, и он понял, что это выступают инструкторы. Они говорили каждый о своём: об использовании забастовок для борьбы против власти всех уровней, о методах агитации в трудовых коллективах и на митингах — оказывалось, приёмы должны быть разными. При этом инструкторы поначалу советовали не призывать открыто к насильственному разрушению советского режима, а дать на болевые точки стремительно ухудшающейся жизни. В первую очередь — на нехватку продуктов и отсутствие товаров первой необходимости. “Все революции, — сказал один из “недавно приехавших”, — начина-

ются из-за голода. Вспомните, как удалось начать Февральскую революцию 1917 года в России! Царская Россия была одной из немногих воюющих стран, где не вводились карточки: продовольствия было достаточно. Но умные люди перекрыли пути доставки продуктов в Петроград, и голодные женщины в очередях раскачали царизм”.

Карабанов быстро понял, к чему ведут инструкторы. Некоторое время он колебался — всё же это была его страна, где он родился и вырос, за которую воевал и был ранен его отец, откуда не хотела никуда уезжать его мать — опытный врач-невропатолог. Но слишком многое здесь его уже раздражало, и он принял предлагаемые правила действий.

— Ты оглянись по сторонам, — сказал он электрику, стараясь придать голосу как можно больше товарищеской озабоченности. — Неужель не видишь, Андрей, что всё догнивает? Всё разваливается у этих коммунистов. Ты задел Америку, а я ведь там не видел ни одной очереди. Можешь себе такое представить у нас? Магазины полны товаров и продуктов... На каждом шагу кафе, рестораны. Ты был в Москве в “Макдональдсе”*?

— Не попал. Ну, и что? — огрызнулся электрик.

— А-а... Не попал, потому что там тысячи стоят, хотят попробовать американской еды. А в Нью-Йорке этих “Макдональдсов” — на каждом углу. Поэтому нигде нет очередей. Там слова такого не знают. А какой выбор в магазинах! Мы были зимой. Марк живёт под Нью-Йорком. Там не поймёшь, где кончается город, где начинаются пригороды. Везде одинаково яркая реклама, на дорогах светло от фонарей. Не как у нас: с главной улицы свернул — и конец света. Зашли с Верой в небольшой магазин. Сказал ей, чтоб отвернулась от витрины и стала называть продукты, какие может вспомнить. А я смотрел: есть ли они? Ребята! Мы выдохлись на третьем десятке. Увидели всё, что приходило в голову. Даже вишню и клубнику. В январе! А сколько мы с вами всего забыли! Названий не помним, не то что вкуса!

Волков это слышал ещё год назад, когда был у Сергея дома после его приезда из Штатов. Потом — летом на рыбалке, куда они ездили вдвоём. Поэтому с видом причастного к тайне подтолкнул доктора:

— А расскажи, Сергей, про кефиры.

— Э-э, это отдельная песня. Сколько у нас кисломолочных продуктов?

— Ряженка, — с готовностью начал перечислять учитель. — Кефир. Простокваша. Творог.

Подумав, добавил:

— Сметана.

— Всё? А в Америке раз в десять больше. Если не в двадцать. Ты назвал, Володя, сметану. У нас она в единственном виде.

— Если достанешь, — сказал Волков.

— А в американских магазинах и разной жирности, и разного веса...

— Зачем разного-то? — с сомнением в голосе спросил Валерка.

— Кому-то надо триста грамм, другому — двести. А бабке... старушке одинокой, может, хватит маленькой баночки.

Помощники егеря недоверчиво переглянулись. Волков заметил это.

— Ты про кефиры расскажи, — нетерпеливо напомнил он Карабанову.

— А от этого дела мы вообще растерялись. Представьте метров десять — пятнадцать... даже не знаю, как назвать... витрина што ль? Открытая полка, но сзади холод. На полке разные кефиры... йогурт...

— Эт кто такой? — с подозрением спросил Адольф. — Ёгурт?

* “Макдональдс” — сеть ресторанов быстрого питания. В Москве первый такой ресторан был открыт в 1990 году на Пушкинской площади. Его открытие вызвало небывалое столпотворение. Чтобы попробовать легендарный “Биг-Мак”, москвичи и гости столицы выстраивались в огромные очереди. Однажды за день работники ресторана обслужили больше 30 тысяч человек. Очередь попала в Книгу рекордов Гиннеса. Людей потрясла необычная еда, невиданные ранее контейнеры для бутербродов, бесконечные улыбки персонала, что особенно контрастировало с манерой поведения в советской торговле и общепите тех лет. Цены: “Биг-Мак” — 3 руб. 75 коп.; двойной чизбургер — 3 руб.; одиночный чизбургер — 1 руб. 75 коп. Средняя зарплата в СССР в 1990 году: у рабочих (по всем отраслям промышленности) — 285 руб.; у шахтёров — 611 руб. (прим. авт.).

— Можно сказать: кефир. Одно и то же. Как у Валерки Федя и Альберт. Но этих йогуртов... каких только нет. С вишней. С клубникой. С черникой. С кусочками персика. С шоколадом. Всё открыто. Бери в корзину — и в кассу.

— И не воруют? — хрипло спросил красноглазый мужик.

— Там не украдёшь — весь зал осматривают кинокамеры. Да и зачем, когда всего в избытке.

— Вот чёрт! — воскликнул Валерка. — Почему у нас так нельзя?

Он запустил пальцы в жёсткий вулкан волос над узким лицом, поскрёб в недоумении голову.

— Ёгурды. Мы в сельповский магазин не ходим. Скажи, Николай! Там нечего делать. Мыло дают по карточкам. И то — кусок на месяц. Мыло-то куда исчезло? Эт разве дело? Поедет баба в город — там очереди и пустые магазины.

— Это всё Горбачёв! — грохнул кулаком по столу Нестеренко так, что подпрыгнула тарелка с капустой и огурцами. — Он, тварь, развалил экономику, порядок — всё в стране. При Брежневте жили сытно... Мирно.

— Не считая афганской войны, — холодно бросил доктор.

— А сейчас война по всему Союзу! — рявкнул Нестеренко. — Армяне убивают азербайджанцев. Те — армян. Узбеки — каких-то месхетинцев. В Молдавии — русских. Эт чё такое, ребята-демократы? Сталина нет на вас! Он бы устроил вам карабах-барабах.

— Во! Поглядите на него! А мы хотим перемен.

— Я недавно был в Рыбинске, — сказал Слепцов. — Там наш завод. Прошёл по магазинам — всё пусто. Хлеб и консервы “Завтрак туриста”. Раньше такого не было. Давно туда езжу. Привозил сыры — “ярославский”, “пошехонский”, “угличский”, “костромской”. Всё исчезло. За плавленным сырком очередь.

Он замолчал. Затихли и остальные, думая каждый о своём. Волков вдруг вспомнил, как пылал недавно от стыда в кабинете директорши гастронома. Она была матерью его ученика — ленивого и нагловатого подростка. Можно было вызвать её в школу. Но приближался день рождения жены. Попирая гордыню, учитель позвонил в магазин. В жар бросало не только от взглядов всё понимающей, самодовольной женщины, которая, с трудом вынудив из кресла глыбу расплывшегося тела, повела его в подсобку. Стыдно было от того, что он действительно забыл названия продуктов. “Што бы вы хотели?” “Колбасу”. “Какую?” Он пожал плечами. “А ещё?” “Э-э... колбасу”. Женщина снисходительно улыбнулась. “Ну, хорошо, какие у нас есть колбасы, мы подберём. Ещё чево?” Однако Волков ничего не мог вспомнить даже из того небольшого количества названий колбасно-мясных изделий, которые знал по “заказам” Фетисова.

Вспомнив о визите в магазин, он с благодарностью подумал о товаре-де — от скольких неудобств избавлял его Игорь Николаевич своей неброской и как бы даже стеснительной поддержкой. Иной сделает на копейку, а будет представлять дело так, словно сотворил грандиозное благо, будто ради этого одолел невероятные трудности и потому благодетельствованный им должен помнить это если не всю жизнь, то уж обязательно многие годы.

Игорь Николаевич был для компании вроде камертона миролюбия. Его старались не задевать даже лёгкой иронией, не говоря о грубоватых, порой беспардонных мужских шутках, как это норовили сделать при каждом удобном случае с остальными. Если трогали, то скорее с заботливым добродушием, не переходя грань. На одной из прошлозимних охот лося взяли совсем уж поздно, в сумерках. Стреляли сразу двое: Нестеренко и товаровед. Пока егеря разделявали тушу, Фетисов с беспокойством ходил вокруг. Время от времени взрывал носком валенка снег, словно пытаясь что-то найти.

— Чего потерял? — спросил Нестеренко, закусывая выпитую “на крови” водку.

— Галюша куда-то... Она у меня слабо сидит.

Когда перевернули тушу лося, чтобы снимать шкуру с другой стороны, кто-то из егерей крикнул:

— Э-э! Тут чья-то галоша!

Ядовитый электрик отреагировал мгновенно:

— Это Фетисова! Его смертельное оружие! Он у нас лосей галошами бьёт.

Но товарищи не подхватили шутку Андрея, хотя каждый понимал: случись такое с ним, компания долго бы издевалась над “стрельбой галошами”. Хмыкнул только Слепцов, да и тот сразу загнулся. Маленькая фигурка Фетисова в давно приношенном офицерском бушлате, в выцветшей до рыжины ондатровой шапке, с болтающейся на груди муфтой — в ней Игорь Николаевич грел руки, стоя на “номере”, — вызывала больше сочувствия, чем смеха.

Выпивая, Фетисов быстро пьянел; глаза начинали слезиться; он, стараясь не привлекать внимания, вытирал их, и чаще рассеянно, нежели с интересом, слушал кипящие споры товарищей.

Однако на этот раз он даже немного подсердился оттого, что ему не давали сказать до конца. Улучив момент в напряжённо-злой тишине, Фетисов быстрым говорком зачастил:

— Говорю ему: плохо кончится. Очень будет плохо. По складам нельзя пройти. Забиты. Одежда всякая... Дублёнки... Костюмы. Обuvi под потолок. А продукты! Некуда ставить. На путях держим... В вагонах.

Все разом повернулись к Фетисову.

— Консервы... банки... Эти можно долго хранить. А скоропортящийся продукт? Масло... сыры. Пока в холодильниках. Колбасы — сервелат, сырокопчёная — могут полежать. Хотя у них тоже срок хранения не вечный. А варёные колбасы? Сосиски... Сардельки... Окорочка... грудинка-корейка... карбонат... буженина...

— И это всё у вас есть? — ошарашенно выдавил Нестеренко.

— Девать некуда. Какой-то команды ждёт. А когда она будет? Уже две машины варёных колбас отвезли в лес. Выбросили. Говорю ему: Григорий Евсеич, будешь крайним. С тебя спросят. А он: “Не время пока. Скажут, когда надо. Не одни мы держим. Вокруг Москвы много составов”.

В избе стало тихо, как будто из неё все мгновенно исчезли. Только потрескивали горящие дрова в печи. Наконец, учитель, запинаясь, проговорил: — Игорь, ты... ты понимаешь, что вы делаете?

Он стал доставать сигарету, но пальцы никак не могли её захватить.

— Вы натравливаете голодный народ на власть. Губите страну.

— Правильно делают! — резко, с незнакомым металлом в голосе произнёс Карабанов. — Эта власть уже погубила страну. Осталось подтолкнуть.

Доктор понял, что это и есть реализация того плана, о котором он слышал летом минувшего года.

Глава третья

Тогда его после очередной встречи в Институте демократизации позвал с собой на “интересное собрание” один из новых знакомых — младший научный сотрудник какого-то НИИ Анатолий Горелик. Горелик был моложе доктора. Лысоватый, с остатками редких светлых волос на темени, с выпуклым лбом и размыто-голубыми глазами, он, казалось, только что был отстиран с моющим средством “Белизна”. Своей нездоровой бледностью и слабым телом сутулый Горелик напоминал скорее подростка-домоседа, не знающего улицы, чем активного мужчину митингов и площадей. Но это впечатление было обманчиво. Перед толпой Горелика распрямляло, в слабом голоске появлялась твердь, и какая-то тревожная, фанатичная сила захватывала стоящих рядом людей. Организаторы собраний в Институте называли Горелика “активистом демократического движения со стажем” и новичкам советовали к нему прислушиваться. Но Карабанов, привыкший сам быть не среди последних, с иронией глядел на этого неказистого *комиссара нового времени*.

— Куда поедет? — спросил он, раздумывая, садиться ли ему в “Жигу-

ли” Горелика или пойти на автобус — из школы должна была прийти младшая дочь-пятиклассница, в которой Карабанов не чаял души.

— Давайте, давайте, Сергей Борисыч! К нам приехали из Московской ассоциации избирателей. Собрание... (он глянул на часы) уже идёт.

Их не сразу пропустили в зал, хотя он был заполнен людьми наполовину. Один из двух крепких парней, стоящих возле дверей, куда-то сходил с паспортом Горелика. Вышел человек. “Активист со стажем” показал на доктора: “Это — наш...”

Разговор шёл примерно о том же, о чём говорили в Институте демократизации. Как агитировать? Что обещать? Как преподносить имеющиеся у партократов привилегии: спецполиклиники, казённые загородные дачи, жильё повышенной комфортности.

— Если у директора завода или секретаря горкома партии трёхкомнатная квартира на троих, — говорил тонким женским голосом стоящий рядом с трибуной упитанный мужчина, — найдите конкретную семью простого рабочего, где трое живут в двухкомнатной... А лучше — в однокомнатной. Поднимайте шум о несправедливости... Пусть люди задумаются: нужна ли им такая несправедливая власть?

Однако на том собрании доктор услышал и нечто новое. Из президиума, где сидели три человека, несколько раз прозвучали неожиданные для него слова: “Мы должны захватить власть...”

Собрание вёл невысокий плотный человек с плечами штангиста и круглым лицом простачка.

— У нас есть шансы для победы, — сказал он после выступления очередного активиста из зала. — Нужно ставить на учёт каждого депутата РСФСР. Он должен понять, что если он будет голосовать не так, как скажет Межрегиональная группа, то жить ему в этой стране будет невозможно.

“Ого! — удивился Карабанов. — Вот это демократия! Расстреливать, што ль, будут?”

Горелик провёл доктора поближе к президиуму — свободных мест в зале было много, и тут Карабанов как следует разглядел главного. Это только издали лицо председателя показалось ему лицом добродушного простачка. Теперь он его увидел другим. Большую круглую голову охватывала шапка коротко стриженных, густых и, видимо, очень жёстких волос — косо падающий на середине низкого лба тёмный клин не сдвигался, даже когда председатель энергично тряс головой. Казалось, какая-то хищная птица распласталась на его голове, сбросила жёсткое крыло на лоб и, вцепившись в голову, не собирается выпускать свою добычу.

— Во время уличных митингов, — заговорил поднявшийся в соседнем ряду парень, — не обойдётся без драк, нарушения общественного порядка. Будет проливаться кровь. Кто защитит наших? Кто будет платить штрафы и защищать в судах?

— Пусть это вас не беспокоит, — заявил сидящий слева от председателя мужчина с длинным, как лошадиная морда, лицом. — У нас есть деньги, чтобы платить штрафы. Есть список 30 адвокатов, которые будут защищать наших людей, попавших к властям.

“Это кто?” — тихо спросил Карабанов Горелика. Тот пожал плечами. “Наверно, какой-то адвокат”. “А этот?” — показал доктор на вставшего за столом президиума председателя. “О-о! Это известный экономист... Гаврила...э-э... Маратоныч, кажется. Один из лидеров Межрегиональной депутатской группы. Она сейчас главная сила демократии. На ней держится Ельцин. Подождите. Надо слушать”.

В это время председатель подошёл к трибуне и снова заговорил о власти.

— Власть должна перейти к нам. Демократия... Церемониться больше нельзя.

“Да-а... Тебе власть только дай, Макароныч, — опять мысленно усмехнулся доктор. — Служил Гаврила демократом...”

А тот, пренебрежительно вздёргивая верхнюю губу, напористо диктовал:

— Для достижения всеобщего народного возмущения надо довести систему торговли до такого состояния, когда ничего нельзя будет приобрести.

Ничего! Таким образом можно добиться всеобщих забастовок рабочих в Москве и в других городах. Затем ввести карточную систему. Но карточки обеспечивать не полностью. Товаров здесь должно не хватать. Сильно не хватать. Какую-то часть... может, значительную часть товаров направить в кооперативы и продавать по произвольным ценам. Это тоже вызовет возмущение.

“Значит, дела пошли”, — подумал доктор, меньше других пораженный сбивчивым рассказом Фетисова. Хотя дефицит уже давно тряс страну, Карabanов относил это на счёт неумелых действий горбачёвской команды. Однако теперь он понял, что, оказывается, активно работали и другие силы. Гордый своим участием в этой большой, невидимой деятельности, он ещё жёстче повторил, глядя на Андрея Нестеренко:

— Пусть быстрее всё развалится. Эта власть уже погубила страну.

— Как говорил лысый вождь большевиков Ленин: чем хуже, тем лучше, — весело добавил Слепцов.

— Да вы что! — закричал Нестеренко. — Вы ж диверсанты, эти вашу мать! Враги народа! Вас расстрелять мало!

— Не преувеличивай, Вольт, нашу роль, — бросил Слепцов, наливая себе в стакан водки. — Мы видим то, что давно разглядели другие: Горбачёв нам послан судьбой. Может, он действительно недоумок, как считают у нас. Но наша публика...

Он перемял тонкие губы не то в улыбке, не то в безразличности:

— ...это особая публика.

Глава четвертая

Слепцов был заместителем главного экономиста на крупном заводе с ничего не говорящим непосвящённому человеку названием. Таких предприятий в Советском Союзе было много. И ни по их “именам” — “Сплав”, “Баррикады”, “Южное”, “Титан”, “Рубин” и тому подобные, — ни даже по названиям министерств, к которым они относились, нельзя было определить, какую продукцию они выпускают. Например, ядерную начинку для ракет с атомными боеголовками делало Министерство среднего машиностроения. А было ещё Министерство тяжёлого машиностроения, Министерство общего машиностроения, просто Министерство машиностроения и ещё с десятком подобных ведомств, которые, наряду с гражданской продукцией, выпускали военную.

Завод, где работал Павел Слепцов, создавал системы управления ракетными комплексами и был связан по кооперации почти с тридцатью предприятиями в разных республиках Советского Союза.

Кадры военно-промышленного комплекса, на самом деле, были “особой публикой”. Благодаря улучшенному социальному обеспечению — жильём, продуктами, товарами, здравоохранением, отдыхом — сюда отбирались наиболее подготовленные специалисты. На закрытых заводах и в моногородах продолжалось постоянное их обучение. Поэтому даже рабочие были хорошо знакомы со всеми технологическими новшествами советского и зарубежного производства. Это поднимало их в собственных глазах, развивало чувство достоинства, делало людей раскованными и достаточно свободно мыслящими.

Особенно сильно это чувствовалось в инженерно-конструкторской среде, где непрерывно шло соревнование идей, где постоянно сравнивалось “сделанное у нас” с “выпущенным у них”.

Приход к власти Горбачёва многие в конструкторских бюро и на предприятиях военно-промышленного комплекса встретили с удовлетворением. Всем надоели шамкающие старцы на трибунах, созданный ими застой последних лет, и потому молодому, улыбчивому генсеку хотелось пожать руку.

Но первоначальная эйфория быстро сменилась настороженностью. Открыв без учета психологии и сформированного за десятилетия менталитета советского человека люки гласности, через которые, вместе с тонкими струй-

ками свежего воздуха, попёрла зловонная жижа яростной критики ВПК, Горбачёв столкнул одну часть народа — миллионы работающих на предприятиях военно-промышленного комплекса, а также тех, кто в той или иной степени имел отношение к обороне страны, с остальным населением.

Одновременно сумбурные и противоречивые, под стать, как стало выясняться, сути самого Горбачёва, планы конверсии и сокращения вооружений ударили по обороноспособности Советского Союза. Слепцов, как многие люди его уровня осведомлённости, наблюдал сначала с изумлением, а потом с опустошённым безразличием за драматической судьбой советского ракетного комплекса “Ока”. Созданный в Коломенском КБ машиностроения под руководством академика Сергея Павловича Непобедимого ракетный комплекс был принят на вооружение в 1983 году. В НАТО ему дали имя “Паук”. Фрагменты “Оки” делали в разных местах страны. Самоходную пусковую установку и шасси — в Волгограде и Брянске, ракеты — на Воткинском машиностроительном заводе в Удмуртии.

К моменту постановки на боевое дежурство комплекс не имел аналогов в мире. А после оснащения его системой преодоления противоракетной обороны (ПРО) стоящий на вооружении стран НАТО американский противоракетный комплекс “Patriot” стал, по признанию военных Запада, “абсолютно неэффективным”.

В 1987 году на испытания была направлена усовершенствованная пусковая установка “Ока-У”. Она отличалась ещё более высокой точностью, стремительной подготовкой к залпу из походного положения и практически полной неуязвимостью ракеты, которая могла нести, кроме обычного, ядерный заряд. Ракета управлялась в течение всего полёта и способна была на ходу перенацеливаться на любой другой объект поражения.

Но испытания из-за вмешательства Горбачёва прекратили. В апреле 1987 года в Москву для переговоров о ликвидации ракет средней и меньшей дальности приехал госсекретарь США Шульц. В эту категорию попадали ракеты с полётом от 1000 до 5500 километров (средняя дальность) и от 500 до 1000 километров (меньшая дальность). Советская “Ока” не подпадала под эти ограничения: её дальность полёта составляла 400 километров. Но американцы хотели во чтобы то ни стало включить в число уничтожаемых и опасную для них “Оку”.

Зная, что их в этом поддерживает министр иностранных дел СССР Шеварднадзе, который настойчиво подталкивал к такому же решению генсека, советские военные написали для Горбачёва памятную записку. В ней советовали ни в коем случае не соглашаться на предложения американцев, поскольку это нанесёт урон советской обороноспособности.

О том, что произошло на встрече Горбачёва с Шульцем, через некоторое время стало известно оборонщикам. Шульц сказал, что если генсек согласится включить в Договор ракеты “Ока”, он может смело ехать в Вашингтон для подписания документа эпохи. Горбачёв засиял. Ему всё больше нравилось, что каждый его новый шаг руководители западных стран, а от них — пресса преподносят как действия исторического значения. Он немного поколебался, потом заявил: “Договорились”.

В осведомлённых кругах передавали последующий разговор Горбачёва с начальником Генштаба маршалом Ахромеевым. Тот спросил генсека, почему он согласился на уничтожение целого класса новейших ракет, ничего не получив взамен? Горбачёв сначала сказал, что забыл о предупреждении военных. Потом признал, что, наверно, совершил ошибку. Однако когда Ахромеев попросил немедленно сообщить Шульцу, пока тот не вылетел из Москвы, о прежней советской позиции, Горбачёв напыжился. По своей хамоватой привычке всех нижестоящих называть на “ты” — чтоб знали дистанцию! — пробормотал маршалу: “Ты предлагаешь мне сказать госсекретарю будто я, Генеральный секретарь, некомпетентен в военных вопросах? Такого не будет”.

Возвращаясь из Москвы в Вашингтон, Шульц сказал в самолёте американским журналистам, что включение ракет “Ока” в Договор “было настолько односторонне выгодным для Запада, что он не уверен, смогли бы со-

ветские руководители провернуть это, будь в Москве демократический законодательный орган”.

Слепцов узнал об этом через несколько месяцев. Всем, кто не соглашался поддерживать, по сути, предательское решение Горбачёва, грозили партийными наказаниями, а значит, лишением должности, и потому обсуждение вышло за рамки секретности.

В декабре 1987 года Горбачёв и Рейган подписали Договор. Спустя два года, в 1989-м, было уничтожено более 200 самых неуязвимых советских ракет ближнего радиуса действия.

Американцы не замедлили воспользоваться “подарком недоумка”, как стали называть эту историю и её автора ракетостроители. Вскоре после подписания Договора они начали готовить к размещению в Европе свои ракеты “Лэнс-2” с дальностью, превышающей полёт “Оки”. Поэтому слова Андрея Нестеренко о диверсантах обидели Слепцова. “Не там, Вольт, ищешь врагов”, — с раздражением подумал он. А вслух с вызовом произнёс:

— Власть надо менять! На другую.

— Ну, тебе бы, Паша, на власть обижаться не надо, — заметил Волков. — При другой, не советской, стал бы твой отец генералом? Ходил бы в крестянах. Быкам хвосты крутил.

— Наполеоновский маршал Мюрат был сыном конюха, — отрезал Слепцов. — В Америке сплошь и рядом президенты из простых. Авраам Линкольн, например, — лесоруб. А мой дед, к твоему сведению, был лесничим. Так что не надо повторять сказку про большие возможности в нашем мире и полное отсутствие их там.

— Когда воздух есть, его не замечаешь. А как полиэтиленовый пакет на голову наденут, сразу вспомнишь. Ты в садик ходил бесплатно? В школе учили бесплатно? Институт закончил — тоже ни рубля?

— Не забудь про музыкальную школу, — со злостью добавил всё ещё потрясённый Нестеренко. — Считай — дали ещё одну специальность. Случься чего, скрипку в руки — и опять сытый.

— За мою специальность не переживай, Вольт. Она всегда будет востребована. Ракеты нужны и коммунистам, и капиталистам. А скрипка... Это прошлая жизнь...

Глава пятая

Отец Павла страстно любил музыку. Самому не удалось выучиться играть — завидовал тем, кто умел. Когда на вечере в пединституте, куда пригласили слушателей военной академии, он услышал игру на фортепиано белокурой девушки, сразу решил, что именно это его судьба.

Учиться играть на инструменте матери Павла сначала уговаривали. Потом стали заставлять. Он не поддавался. Отец готов был уже согнуть упрямец “через колено”, но мама поняла: насильно мил инструмент не будет.

На скрипку младший Слепцов согласился только потому, что не тяжело носить и при нужде легко прятать. Но увлёкся, и когда семья вернулась из Германии в Советский Союз, уже с охотой пошёл в музыкальную школу.

Став взрослым, инструмент почти забросил. Брал в руки, чтобы привлечь очередную девушку или сделать приятное родителям. Несколько раз привозил скрипку на охоту. Это был период, который Нестеренко назвал “охотой на лис”. Первым “открыл сезон” Сергей Карабанов. Пряча смущение в серых глазах под набрякшими веками, он неуверенно сказал товарищам, что приедет с женщиной. Бурно возражал только Нестеренко:

— Баба на охоте и на корабле — к беде, — запротестовал электрик, в прошлом матрос Северного флота.

Остальные отнеслись к сообщению доктора кто с интересом, кто безразлично.

После доктора с женщиной появился Волков. Потом Слепцов. Андрей Нестеренко долго был против того, чтобы соединять настоящую охоту с “охотой на лис”. Но, в конце концов, сдался и он, высадив однажды из ма-

шины высокую, налитую здоровьем шатенку с большой грудью и крутыми бёдрами.

Если Карабанов приезжал на некоторые охоты с одной и той же медсестрой из своей больницы, то другие были не так постоянны. Нестеренко и Волков раза по два привозили новых женщин. Однако со временем снова перенесли “охоту на лис” в городские условия, с удовольствием отдав кухонную работу на базах подругам своих товарищей.

Менял женщин и Павел Слепцов. Но происходило это какими-то “залпами”.

На охоте мужчины, как правило, становятся несколько иными, чем в обычной обстановке. За столом, а особенно в бане, мягчают, выплёскивают то, о чём в другое время промолчали бы. К тому же дают о себе знать характеры. Импульсивный и часто открытый Нестеренко мог бесшабашно рассказать о каких-нибудь перипетиях семейной жизни, не видя в этом ничего плохого. Жёну он не то чтоб переживательно любил — с годами пылания переходят в ровное горение, — но, как понимали товарищи, был к ней неотделимо привязан. Любовницы только завихряли его чувства, однако доводить отношения до выбора: я или жена — он не позволял.

Доктор в присутствии медсестры Нонны — невысокой, слегка полнеющей, но всё ещё аккуратной сложенной женщины, с чуть выпуклыми зеленоватыми глазами и массивной переносицей, что говорило о буйной страсти, вёл себя то как хозяин и взрослый мужчина, то словно ребёнок. О семье он говорил мало. Но Волков, бывавший у него дома, видел за внешне вежливыми отношениями с женой скрытую холодность и с одной, и с другой стороны.

Учитель так же, как и Нестеренко, ценил свою жену. Она была у него второй — с первой, студенческой, они разошлись быстро, без драм и скандалов, как-то по-товарищески. Может, потому, что не успели родить ребёнка, может, благодаря волковской натуре. Он и до того развода, и позднее сходилась с женщинами легко, был с ними дружелюбен, от чего даже после расставаний они сохраняли с ним тёплые, доверительные отношения, нередко рассказывая о своих новых любовниках, советуясь по поводу пикантных ситуаций, которые возникали у них с его “сменщиками”.

О делах в семье Слепцова товарищи больше догадывались, чем знали. Скрытный и сдержанный по натуре, он тем более сразу замыкался, едва кто-нибудь, забывшись, спрашивал о семье. Про сына мог скупо вато сказать, жене и этого не доставалось.

О том, что Слепцов развёлся, компания долго не подозревала. Лишь появление с Павлом сначала одной женщины, потом — через охоту — другой, за ней — через пару охот — третьей толкнуло бесцеремонного Андрея Нестеренко на расспросы. В бильярдной комнате была только своя компания. Женщины в столовой собирали посуду после ужина. Егеря ушли спать. Слепцов сухо и коротко сказал вроде электрику, а на самом деле всем, потому как остальные тоже заинтересованно смотрели на Павла, что теперь он свободен и звонить ему надо на квартиру родителей.

Потом случился новый “залп”. Компания только успевала знакомиться с кратковременными подругами Слепцова — в основном, очень молодыми женщинами. Каждой из них он играл на скрипке свою любимую мелодию из американского фильма “Серенада солнечной долины”.

Женщины, не задерживаясь, меняли одна другую, словно Павел хотел кому-то и что-то доказать. Пока однажды с ним не появилась примерно его лет дама — стройная, высокая, с аристократическим лицом и жгуче-чёрными крашеными волосами. Она оказалась однокурсницей Слепцова, которую тот когда-то до потери самообладания любил, да и она была к нему неравнодушна. На последнем курсе стали жить открыто. Его и её родители перезнакомились в ожидании свадьбы. Но вдруг словно смерч подхватил Анну — так звали слепцовскую невесту: и она в считанные дни вышла замуж. Уехала в Саратов с человеком старше неё, родила двоих детей, после чего муж-профессор увлёкся своей аспиранткой.

Анна вернулась с детьми — уже школьниками — к родителям. Случайно на улице встретила Павла. Они просидели на скамейке в осеннем парке

до темноты, поскольку идти ни к нему, ни к ней было нельзя. Через некоторое время открывался охотничий сезон, и Слепцов взял Анну с собой.

После этого он приезжал с нею часто, но ни разу не привозил скрипку. Тем более не брал “стонущий инструмент”, как его назвал однажды Нестеренко, когда ехал на охоту один.

Со временем товарищи даже подзабыли про “музыкальный довесок” Слепцова, и вот теперь электрик с издёвкой напомнил об этом.

— Жалко, у нас с тобой, Андрей, нет такого же запасного аэродрома, — примиряющее сказал Волков, видя, как ходят скулы у Слепцова. — Пашин талант не одному ему может пригодиться.

Слепцов удовлетворённо покивал, все стали расслабляться, как вдруг Валерка, словно чёрт из-за угла, снова вбросил колочую тревожину.

— Нет, я всё-таки не пойму: почему за границей еда есть, а у нас её нету?

— Потому что диверсанты прячут! — немедленно отреагировал Нестеренко. Оглушённый сообщением Фетисова, он даже табуретку отодвинул от товароведа. Однако и это его не успокоило.

— Теперь вы видите, кто такой “пятнистый” и его твари? Явных врагов не могут арестовать и повесить!

Своё гневное “твари” инженер произнёс с такой яростью, что Волков вдруг подумал: дай Андрею сейчас возможность, он, не колеблясь, уничтожил бы Горбачёва из своего пятизарядного МЦ 21-20.

— Тебе везде мерещатся враги, — отчуждённо бросил Карабанов и, повернувшись к Валерке, пояснил:

— Там — рынок. Поэтому всё есть.

Валерка выдернул пятерню из дыба волос.

— Ну, и что? У нас тоже есть рынок... В Петровске. Скажи, Николай! Раньше хороший был рынок. Сейчас, конечно, не то...

Доктор засмеялся.

— Это разные вещи, Валера. Там экономика по-другому построена. У нас из Москвы планируют, сколько кастрюль выпустить в Ташкенте... на авиационном заводе. Вон спроси Пашу! Планируют, сколько ботинок сделать на ленинградской фабрике... и сколько где-нибудь в Харькове. А там каждый хозяин решает сам. Видит, его ботинки разбирают — тут же покупает больше кожи, подошв, шнурков — всё это в свободной продаже. Производители этого добра также реагируют на спрос. Есть потребность — увеличивают производство. Нет — сворачивают. И никаких Госпланов! Никаких планов вообще!

— Ну, это вряд ли, — усомнился Волков. — Планировать всё равно нужно. Сколько подошв делать? Сто или тысячу? Как же без плана?

— Умная рука рынка, Володя, регулирует всё сама. Есть спрос — производитель увеличивает выпуск и поднимает цену. Много предложений — цена сразу падает. А у нас? Ты посмотри хотя бы на бензин. Страна заливается нефтью, гонит за границу — в соцстраны задарма. Настроили перерогонных заводов, а бензина нет. Люди ночуют в очередях.

— Да, это сволочизм, — со злостью согласился учитель, вспомнив, как перед охотой метался с канистрами от заправки к заправке. — Совсем разучилось государство управлять.

— Оно и не должно управлять, — заявил доктор. — Доуправлялись!.. Был бы рынок — заправки стояли б на каждом углу.

— И цена бензину — копейки, — добавил Слепцов.

— А кому за ценами следить? Если государство, по-вашему, не должно руководить экономикой, кто будет регулировать всю эту кухню? Количество бензина? Цены на него?

Слепцов снисходительно усмехнулся. Как надоевшему ребёнку, пояснил:

— Рынок, Франк. Только он. Его умная рука.

— Заладил, как попугай: рынок, рынок, — сердито оборвал Слепцова учитель. Он разозлился даже не на кличку, хотя сейчас она, как показалось ему, прозвучала довольно пренебрежительно, и Волков с досадой подумал о

* МЦ 21-20 — одноствольное ружьё-автомат с магазином на 5 патронов для любительской и промысловой охоты. Изготовитель — Тульский оружейный завод (прим. авт.).

том, что Слепцову тоже надо было давно дать какое-нибудь прозвище. Карабанов у них был Карабас. К Нестеренке — за его бурную, словно наэлектризованную энергию, которая иногда, казалось, исходила не только от резких жестов и движений, но даже от черт грубоватого лица, как карта в масть, легла кличка Вольт. Фетисова товарищи, не мудрствуя лукаво, назвали Базой. Учителю ничего лучше не придумали: коль преподаёт французский, значит, Франк. И только с кличкой для Паши Слепцова у компании не получалось — какой-то он был неуловимый. “А надо бы”, — подумал Волков, злясь от неприятной ему, враждебной наступательности Карабанова и недобрых реплик Слепцова.

— А если владельцы заправок сговорятся? Установят, какую захотят, цену. Кому тогда жаловаться?

— Паша прав, Володя. Во всём другом... не нашем мире... государство абсолютно не вмешивается в экономические процессы. Их регулирует сам рынок. И никаких планов-Госпланов. Ни маленьких, ни больших.

Сухое лицо Слепцова слегка скривилось, и в глубине провалов-глазниц скользнула заметная усмешка. Он пожал плечами, но ничего не сказал. В отличие от доктора, Павел неплохо знал зарубежную экономику и перемены в ней за последние десятилетия. Свободно владея немецким языком — его он начал учить ещё в детстве, в Германии, где отец долго служил представителем одного из советских министерств, — Павел в институте занялся английским. Работая на заводе, языки не забросил. Теперь мог читать на двух языках даже специальную литературу, не говоря уже о периодических изданиях. Перспективное планирование имелось везде: в работе корпораций, крупных фирм, на уровне государственной власти. Иначе нельзя было двигаться вперёд. Недостаточно поставить цель — надо просчитать и запланировать достижение всего необходимого для её достижения.

Больше того. Как раз под влиянием советской плановой системы в развитых капиталистических странах становилось нормой разрабатывать долгосрочные планы, а государственная власть всё активней участвовала в регулировании экономических процессов. Это Павел знал из разных источников, и тут доктор почему-то явно искажал действительность.

Но Слепцов не стал опровергать Карабанова. “Зачем? — подумал он. — Одним обманом меньше, одним — больше. А разъяснить, куда нас несёт, как этого хочет Волков... Кому? Этим мужикам? От них всё равно ничего не зависит. Народ?.. Это стадо овец: куда поведут вожжаки-бараны, туда побежит и стадо... Карабас пробивается в вожжаки. Мы с ним разные, но рядом. Остальные — там... Сзади... Не надо мешать Сергею...”

А Карабанов повёл взглядом по лицам сидящих за шатким столом и вдохновенно заговорил:

— Сегодня у нас с вами январь девяносто первого. Вот если, как задумано... если всё удастся... — он постучал согнутым пальцем по столу, сплюнул — “чтоб не слазить”, — лет через восемь-десять встретимся и не поверим, что была такая жизнь. Игорь ещё не уйдёт на пенсию... да она и не нужна ему будет! Наш Фетисов станет хозяином этой базы... ну, тогда её назовут как-нибудь по-другому... Он будет богатым человеком. Продуктов на базе — завались, а мы его ни о чём не просим: не нужны нам к празднику заказы... в магазинах всего полно.

Володя Волков станет директором школы. Дети все сытые, ухоженные... В семьях у них — полный достаток. Бедных в этой стране тогда вообще не будет. Матери не работают — отцовской зарплаты на всё хватает... Даже на будущее откладывают. Сам Володя тоже богатый... как во всём мире. Учитель везде — высокооплачиваемая профессия...

Так будет или по-другому, Карабанов в действительности не знал. Он выполнял рекомендацию, которую слушателям повторяли на каждом собрании в Институте демократизации: “Рисуйте самые яркие картины возможной жизни. Не душите свою фантазию. Абсолютное большинство людей ничего не знают о другом мире. Чем сильнее будет отличаться окружающая их жизнь от нарисованной вами, тем больше людей встанут под знамёна кардинальных перемен”.

— Ну, про Андрея ничево сказать не могу. Инженеры-электрики нужны будут — это понятно. Хотя Андрей со своими политическими взглядами... Найдёт ли он себе место в новой жизни?

— Найду, найду, не бойсь! — отрезал Нестеренко. — Только Горбачёва надо убрать. От него вся зараза идёт. Не понимает, где должна быть демократия, а где — кулаком стукнуть. Ты, когда делаешь операцию... тобой кто-нибудь командует? Медсестра... Нонна, например. Иль кто другой из рядовых?

— Когда я провожу операцию, я там главный. Меня обязаны слушать все. В человека... в его организм нельзя лезть, кому попало.

— А-а-а, — насмешливо протянул электрик. — А в производство... в тот организм, значит, любой может залезть? Помнишь, мы говорили о выборе директоров?

— И што?

— А то. Их вот не коснулась эта чума (показал на Слепцова и Волкова).

— Нас тоже задела, — усмехнулся учитель. Нестеренко повернулся к нему.

— Задела... Вас задела, а по нашему заводу прокопытила. Карабас тогда уверял, помнишь? “Демократия! Люди перестанут работать из-под палки! Выберут лучших руководителей!” Мне сразу было видно: из той демократии выйдет один бардак. Хорошее дело — контроль народа. Но всякому овощу — свой срок. А главное — умный огородник. Кого можно под шум и гам избрать? Кто больше орёт и обещает все деньги пустить на зарплату. А станки обновлять? А новые технологии? Выбрали. Сидел в профкоме, собирал взносы. До горбачёвской смуты его никто не знал. Потом, оказывается, поехал в Таллин — родня, што ль, у него там? И как подменили мужичишку: стал обещать золотые горы, обвинил Хайруллина — это наш бывший... Не умеет, говорит, работать в условиях перестройки.

Нестеренко нахмурился.

— Рассказывал сказки, как Серёга сейчас. Оказался арап. Всё развалил. Теперь — в российских депутатах. Вертится возле Ельцина.

— Нельзя судить по одному примеру! — резко возразил Карабанов. Его рассердило сравнение с директором-арапом. — Свободный рынок и демократия в управлении — это близнецы-братья. Спросите Пашу!

Электрик махнул рукой и пошёл за бутылкой минеральной воды к старому, дребезжащему холодильнику.

А Слепцов негромко хмыкнул, но вмешиваться опять не стал. Он помнил тот разговор. Его тоже тогда удивила идея Горбачёва “восстановить начала советского самоуправления” через выборность руководителей предприятий. Это отдавало давно забытой анархией первых послереволюционных месяцев, когда управлять ставили не по знаниям и умению, а по классовой принадлежности и выбору толпы. Время показало небольшой эффект от народного признания. Командирами, чаще всего, становились зажиточные масс с лужёной глоткой и подвешенным языком, хотя требовались специалисты.

Ничего подобного не было и за рубежом. Политическая демократия — это одно, а управление экономикой, бизнесом — совсем другое. Здесь царил жёсткое единоначалие. Поэтому Слепцов ещё тогда понял, что Андрей Нестеренко, скорее всего, окажется прав.

Так и случилось. Многие люди, придя на волне демократизации к руководству коллективами, оказались просто демагогами. К тому же нередко — с корыстными целями. Как экономист, Павел знал, что нужно строго соблюдать финансовые пропорции между разными тратами. Непродуманный перекос в одну сторону вызовет болезненное состояние других направлений. В первый год горбачёвского руководства страной предприятиям промышленности из полученной прибыли оставлялось 23 процента средств на развитие производства, а 15 процентов — на экономическое стимулирование, то есть на различные добавки к зарплатам.

Массовое избрание руководителей перевернуло пирамиду наоборот. Идя на поводу “коллективного эгоизма”, новые директора переставали думать о завтрашнем дне. Основная масса денег пошла на увеличение зарплат, пре-

мий, надбавок. В 1990 году из 43 процентов оставленной на предприятиях прибыли 40 процентов было пущено на экономическое стимулирование. Обновлению и развитию не досталось почти ничего.

Так что доктор снова говорил о том, чего не знал, и Павел впервые почувствовал своё превосходство.

Но остальные с интересом ждали, кому какое будущее предскажет Карabanов.

— А ты кем будешь? — спросил Волков доктора.

— Он тут не останется. Рванёт к Марку, — с сарказмом заявил Нестеренко, садясь на своё место, — за хорошей жизнью.

— Не угадал. Сейчас только дурак поедет отсюда. Наоборот, Марку надо сюда. Когда мать осядет, откроется много любопытного. Самая рыбалка — в мутной воде.

“Значит, действительно Мария сглупила, — подумал Волков. — Говорил ей: остановись... Кто вас трогает? Кому вы нужны? Пятый пункт... Будут еврейские погромы... Какая-то сволочь специально пугала. Ефим — профессор... Сама — в министерстве. Лёвка поступил бы в университет. Упёрлась — поедет в Штаты. Израиль — это повод... Надо, чтобы выпустили. А жить будем в Америке”.

Волков вспомнил, как резко, за какие-то месяцы, изменилось поведение Марии. Каждая их очередная тайная встреча всё больше напоминала диспут о положении евреев в Советском Союзе. Мария называла факты притеснения евреев, но почему-то примеры были не из их города, а из других, далёких мест. Где-то какого-то Аркадия Абрамовича уволили с работы. Где-то талантливую Софью Моисеевну не допускали заведовать кафедрой. Волков насмешливо спрашивал: “Почему?” — “Евреи”, — отвечала Мария.

Ещё недавно здравомыслящая и весёлая подруга на глазах превращалась в агрессивную, зашоренную и не воспринимающую никаких доводов женщину.

— Кто тебе это внушает? — требовал ответа Волков. — Ты же умная баба, Муся. Сама принимала и увольняла людей. Может, Аркадий Абрамыч — лодырь и ни к чёрту не годится. Если, конечно, он существует вообще. А Софья Моисеевна не доросла... Как твой инспектор Гольдин... Ты сама рассказывала о его амбициях, хотя он ноль.

Мария резко возражала, уверяла, что факты — подлинные, и называл их ей какой-то Александр Викторович.

Взвинченные, они с трудом успокаивались, и заторможенность не сразу уходила даже в постели.

Осенью 1989 года Мария с мужем и сыном уехали из Союза. Но почему-то оказались не в Соединённых Штатах, куда рассчитывали попасть, а в Израиле. Однажды она позвонила ему на работу. Говорить в учительской было неудобно — уроки ещё не начались, и люди не разошлись по классам. Но даже из разговора эзоповым языком Волков понял: Марии очень плохо. “Муся, я могу чем-то помочь?” — спросил он взволнованно. “Нет. Выбор сделан”, — сказала женщина. И торопливо добавила: “Целую тебя, Волчок. Будь осторожен. Не наделайте там глупостей. Помните о данайцах...”*

Он понял: Мария не рискует что-то сказать по международному телефону из Израиля и предупреждает о чём-то в расчёте на его догадливость. “Что она имела в виду? — думал учитель, слушая новую перебранку Карабанова с электром. — Ельцинские отряды демократов?”

Андрей напористо спрашивал доктора, то хмуро сдвигая широкие чёрные брови, то ломая в усмешке крупные губы:

* “Бойтесь данайцев, дары приносящих” — выражение из “Энеиды” Вергилия. По преданию греки (данайцы), чтобы захватить Трои, которую безуспешно осаждали 10 лет, прибегли к хитроумному плану. Его предложил Одиссей. Была изготовлена огромная деревянная скульптура коня и поставлена у ворот Трои. Ночью в неё забрался отряд лучших воинов, а основную часть войск греки отвели от города. Родственник Одиссея Синон сдался в плен троянцам и сказал, что это дар греков-данайцев защитникам Трои в знак уважения к их мужеству. Коня вкатили в город, а ночью данайцы вышли из коня, перебили стражу и открыли ворота. Так была уничтожена непобедимая Троя (прим. авт.).

— Ты зачем в партию вступал, Карабас? Сделать карьеру? А теперь невыгодно быть в ней? Напринимали таких вот...

— Моя карьера — это мои руки. Больному наплевать — партийные они или беспартийные. Ты спроси в больнице: к кому хотят попасть на операцию? Ко мне, Сергею Борисычу Карабанову. А к Захарову не хотят. И к Радевичу не хотят. Но платят мне, как им! На хрена мне такая система нужна? Я против неё. Система — это советская власть. Поэтому Паша прав: её надо менять.

В действительности Нестеренко правильно понял доктора, и потому Карабанов разозлился. В партию он вступал непросто. Стараясь сделать КПСС партийей, прежде всего, рабочих и крестьян, её “кадровики” тормозили расширение рядов за счёт интеллигенции и служащих.

Но как раз эти категории, в отличие от рабочего люда, активней всего рвались получать партбилеты. Если толкового рабочего надо было усиленно уговаривать вступить в ряды, а он под всякими предложениями уваливал от “лестного” предложения, ибо ничего, кроме потери денег на партвзносы, не приобретал, то интеллигент и служащий знали: благодаря членству в партии гораздо легче сделать карьеру. Поэтому последние, втихаря ехидничая насчёт “разнарядки”, тем не менее терпеливо ждали своей очереди, старательно показывая всё это время свою преданность “идеалам коммунизма”.

Карабанов вскоре понял, что зря вступил в партию. Он любил реальную работу — операции. В этом он постоянно совершенствовался: много читал, не упускал случая съездить на очередной семинар по хирургии.

Как хорошего молодого специалиста и активного общественника, его стали выделять среди других, исподволь готовя к административному росту. Однако после того как Сергей несколько раз заменил уходящего в отпуск заведующего отделением, он почувствовал: это не его дело. Тем более не возбуждала радости гипотетически возможная должность главврача. Там было много хозяйственных проблем, кадровых коллизий, а в деньгах выигрыш небольшой. Как оперирующий хирург, Карабанов уже имел хорошие связи и достаток.

А вскоре членство в партии стало мешать. Больше того, становилось опасным. Особенно в последнее время, когда КПСС затрещала по швам, как старый мешок. В ней начали появляться какие-то платформы, движения, течения. Чем они отличаются друг от друга, какая группа лучше, Карабанова уже не интересовало. Он догадывался: от многомиллионной партии наверняка останется немного. Останутся такие, как Андрей — полуфанатики и полуслепые. Дальновидные уже начали выходить из КПСС. Шумно вышел из партии Ельцин, за ним последовали другие, норовя обставить свой выход как можно скандальней.

Карабанов тоже собрался было сдать партбилет секретарю парторганизации терапевту Макаркину, но потом решил подождать.

Теперь, после слов электрика, понял, что зря протянул с выходом, — этим он мог бы подтолкнуть колеблющихся в своём отделении.

— Ты прав, Андрей. Мы с партией давно живём разными домами. Пора подавать на развод.

— А-а... развод. Все вы такие... Как вас сейчас называют? Яковлева — хромого беса... Этих — из Межрегиональной группы... которые не вылазят из-за границы. Вы — агенты влияния! Пятая колонна!

— Ну, да, — насмешливо бросил доктор. — Шпионы мы. По-твоему, кто видит безнадегу строя, значит — враги. А кто без мозгов верит в большие возможности социализма — самые настоящие друзья. Ну, что он сделал такого, чего нет у капитализма? В чём обогнал, уж если так говорить...

— Да хоть в космосе! Американцы обалдели, когда наш спутник полетел. Про Гагарина не говорю... Ты не забывай — двенадцать лет после войны прошло, когда запустили спутник. Полстраны надо было вернуть к жизни. На Америку ни одной бомбы не упало, а у нас до Волги всё было разрушено. Восстановили и поёрли вперёд. Ты — доктор, можешь что-то не знать про ту же энергетику. А у меня батя строил. И сам я, как понимаешь, с этим делом дружу. Мы с шестьдесят второго года по восьмидесятый пост-

роили, по-моему, штук пятнадцать только крупных ГЭС. Каждая — мощностью больше тысячи мегаватт. В том числе Братскую — на Ангаре, Красноярскую и Саяно-Шушенскую — на Енисее. Кстати, последняя — самая мощная в мире. Это я тебе говорю о больших, какими может гордиться любая страна. А есть ещё и просто уникальные. У нас, а не где-то, построили Виллюйскую ГЭС — на вечной мерзлоте. Единственную в мире! Представляешь? Рядом с “полосом холода”. А Нурекская ГЭС в Таджикистане! Мы жили там, когда отец её строил. Самая высокая на Земле насынная плотина — триста метров! И станция мощная: даёт одиннадцать миллиардов киловатт-часов! Почти всю республику обеспечивает. А там, кстати говоря, крупный алюминиевый завод, ему электричества надо много.

— Для меня эти цифры ничего не значат. Аты-баты киловатты...

— Не думал, что ты такой тёмный.

— В самом деле, Андрей. Ты в этом специалист и хочешь, чтоб остальные так же разбирались в твоих делах, — с примирительной улыбкой проговорил Волков. — Я ж тебя не спрашиваю, как будет по-французски... скажем, плотина?

— Ладно. Объясню с другого боку. В сороковом году, перед войной, Советский Союз потреблял пятьдесят миллиардов киловатт-часов электричества. А сейчас — тысячу восемьсот миллиардов. В 33 раза больше! Это тебе не социализм? Все каскады электростанций — на Волге, Днепре, Каме, Ангаре, Енисее — объединили в Единую энергетическую систему. На западе кончают работу, ложатся спать, электричества надо меньше, а на востоке — проснулись и всё включают. Энергия перебрасывается туда. У нас ведь одиннадцать часовых поясов! Можно это сделать, где каждый сам за себя? Без планирования на годы вперёд? Могу тебе другие примеры привести, но ты их знаешь не хуже меня. Только прикидываешься. Смотри, сколько построили алюминиевых заводов. За короткий срок. Да какие заводы! А это — авиация, космонавтика. Теперь мы в лидерах ракетостроения. Наши самолёты — гражданские и военные — покупают десятки стран. Это тебе не социализм?

— Вот на это мы способны, — ухватился доктор. — Самолёты... Танки... А приличную одежду покупаем у загнивающего капиталиста. Хороший магнитофон, телевизор — тоже у него. Еду! — показал на стол, — еду, чёрт возьми, — и ту везём из-за границы! До чего довёл твой социализм — хлеб стали покупать в Штатах, в Канаде! Царская Россия обеспечивала зерном пол-Европы, а мы себя не можем прокормить. Ты только вникни: у нас урожай... мне недавно говорил один человек — тринадцать центнеров с гектара, а в Швеции — сорок девять, в Дании — под шестьдесят. Посмотри на карту: где мы и где они?

Нестеренко неожиданно засмеялся.

— Ты чёй-то? — с подозрением спросил Карабанов. — Забыл географию?

— Не в том дело. Неделю назад меня дядька просвещал. Агроном. Их у нас в родне два агронома. Младший, дядя Вася, ещё и кандидат наук. Живёт на Алтае, к нам приехал после санатория. Отпуска им дают поздно осенью или зимой. Он подлечился и заехал проведать сестру. Мать мою... Я его тоже, когда посидели, повспоминали всю родню, спросил: почему мы хлеб покупаем? И про царскую Россию спросил, сейчас ею со всех сторон тычут в социализм... жизнь была, мол, райская... Он мне рассказал. Я потом своим демократам на заводе — есть у нас прослойка, всё повторил. Сначала насчёт царской России. Да, она продавала много, но это было главное, чем мы могли торговать. Вывозили, а самим не хватало. Урожай небольшие — семь центнеров на гектар. В одиннадцатом году, как он мне объяснил, тридцать миллионов едва сводили концы с концами, а это пятая часть тогдашнего населения страны. Ну, с той Россией ладно. Спрашиваю про сейчас. Почему покупаем? Почему у нас урожайность маленькая, а у других большая? Повторил почти твои слова. И цифры такие же — их у меня в цехе называл один наш демократ: вы, видать, из одного ручья воду пьёте? Дядя Вася, вижу, расстроился... я не пойму, в чём дело, а он объясняет: полуправда, Андрей, чаще всего, опасней, чем явная ложь.

— И где ж ты в моих словах увидел полуправду? — спросил Карабанов, насмешливо глядя на электрика.

— Во-первых, средняя урожайность у нас другая. Почти двадцать центнеров. А это на треть больше. У тех, действительно, как ты назвал. Но дело совсем не в политическом строе. Несколько лет назад Западная Европа попала в страшную засуху. Дело доходило до голода. И никто не обвинил в этом капитализм. А у нас, как засуха, так виноват строй. Мне дядька столько рассказал, могу всем твоим демократам вправить мозги. Ты ведь, наверно, знаешь, что мы находимся в зоне рискованного земледелия? То засуха, то дожди, то позднее тепло, то ранние холода...

—... то понос, то золотуха, — вставил Слепцов. Это было так неожиданно, что все рассмеялись. Кроме Нестеренко. Он сердито посмотрел на Павла, но не стал отвлекаться. Наоборот, подался к доктору.

— Но известно ли тебе, что вся Западная Европа, а также твои любимые Штаты имеют намного лучшие условия для роста хлебов, чем мы? Больше влаги в нужное время. Дольше тепло... Дания и Швеция, которые ты приводишь в пример, недалеко от Гольфстрима. На юге Швеции, где у них растут хлеба, зимой около нуля. Лето тёплое, но не жаркое. Там виноград выращивают! А теперь сравни это с нашими условиями. На той же широте у нас Сыктывкар, Якутск, Магадан.

Он помолчал, тяжело вздохнул:

— Ну, и порядка больше... Тут я с тобой не спорю. У нас бардака, особенно на селе, всегда хватало. Про сейчас я даже не говорю. Сейчас идёт полная развалюха. Ты вот... Пашка тебе подпевает... Другие, как ты... Может, ещё поактивнее тебя... Сбиваете с панталыку людей... Таким, как они (Нестеренко показал на Валерку с Николаем) вместе с правдой говнеца подкидываете. Люди нохают дерьмо и от хорошего отворачиваются. А надо в корень, Серёга, глядеть. Корни у нас мощные. Ты видел, как в парках обрезают деревья? Первый год стоят обрубки. Противно глядеть. Потом раз... раз... через год-другой пошло куститься дерево. Пошли новые красивые ветки. Проходит какое-то время — и дерево ещё красивее. А почему? Корни хорошие. На долгую жизнь дерева рассчитаны. Так же и социализм. За ним уход нужен. А вы корни подрубаете, чтобы дерево пустить на дрова. Могу я с тобой согласиться?

Нестеренко налил минеральной воды в свой стакан, вопросительно глянул на Волкова — тот пододвинул свой стакан и кружку Адольфа.

— Пашка говорит: в Америке некоторые президенты — из простых, — отпив воды, сказал электрик. — Не знаю, когда это было. Может, на заре их существования. Сейчас — ты даже сам нам рассказывал — все они крупные богачи. Миллионеры. Ну, это хрен с ними. Я про другое хочу сказать. Каждый ли там может, как у нас, выбиться из грязи в князи? Мы вот приехали к Адольфу пять человек. У кого-нибудь родители богачи? Если не считать Игоря... Извини, Игорёк, — хмуро сказал Нестеренко Фетисову, всё ещё не успокоившись от недавнего рассказа товароведа. Тот стеснительно улыбнулся, понимая товарища. — У него можно допустить в предках богача. А мы-то! Дети и внуки гольфьбы, но получили образование, имели возможность сделать карьеру. И таких — десятки миллионов. В моей родне по матери... а семья у деда с бабкой была большая — шесть сыновей и три дочери — все выучились. Бабка только к старости научилась расписываться печатными буквами. Зато два сына — инженеры, два — агрономы. Дядя Вася даже учёный, хотя агроном. Ещё один сын — зоотехник. Шестой — дядя Федя... мама про него много рассказывала — тоже погиб, как старшие два... стал полковником. Перед концом войны погиб. Сгорел в танке. Тётки — одна врач, как ты. Другая — архитектор. Третья — моя мать — инженер-технолог. Про нас — детей, речи нет. Все с образованием. Это разве не социализм? Скажешь, везде в мире такие возможности? В капиталистическом...

— Я не беру дикий мир, — с раздражением заявил Карабанов. Ему не хотелось соглашаться с электриком. Тем более, на глазах всей компании. — Я говорю о цивилизованных странах. Англии... Штатах... Что толку от на-

шей доступности образования? Там простой работяга получает больше, чем у нас инженер.

Сам доктор ни с кем из иностранных рабочих или специалистов об этом никогда не разговаривал. Он их просто не встречал. Но зато рассказывал Марк, и особенно подробно говорили на встречах в Институте демократизации приехавшие “оттуда” люди.

— Ты б, если там жил...

— Не надо мне там, — отрезал Нестеренко.

— Да тебя и не возьмут. Американский инженер, с такой специальностью, как у тебя... Вас сравнить — принц и нищий. Паша Слепцов. Перед ним там на цырлах ходили бы, а здесь он “кормушке” радуется...

В это время Фетисов, видимо, давно хотевший что-то спросить, наконец, поймал момент:

— Ты про Пащу ничего не сказал, Серёжа. Нагадай ему...

— С Пашей всё будет в порядке.

Карабанов демонстративно отвернулся от электрика.

— Экономист оборонного профиля. Весь западный мир держится на экономистах. Это самые богатые и очень востребованные люди. Правда, не знаю, будут ли тогда нужны твои ракеты, Паша? Хоть ты говоришь — ракеты нужны и коммунистам, и капиталистам, но Советскому Союзу надо разоружаться. Срочно и подчистую. Если у нас победит демократия... А она должна победить... Надо сделать всё, чтоб победила... Тогда оружие станет ненужным. Демократические государства не воюют друг с другом. И к другим не лезут. Надо срочно ликвидировать этого монстра — ВПК! Он грабит народ. Из-за него мы в нищете живём, как в гитлеровской Германии: пушки вместо масла! Штаты тратят на вооружение в пять раз меньше нас. А мы — половину всех доходов страны, и всё равно отстаём в военном отношении.

Бесстрастное лицо Слепцова дёрнулось от удивления, брови взлетели вверх — такого даже он не ожидал. Волков заметил это и тут же вспомнил, что недавно слышал от Павла совсем другие цифры.

Тогда он разозлённый позвонил Слепцову на работу. Они встретились у проходной Пашкиного завода, и едва сели в машину экономиста, Волков сразу задал вопрос, из-за которого в школе разразился скандал.

Глава шестая

Завучем школы Нину Захаровну Овцову назначили полтора года назад. Однако близким она говорила, что назначила себя сама: “Власть в школе валилась. Я её подобрала”.

В школах было, как во всей стране. Рушились идеологические и кадровые стереотипы. Традиционно директорами школ ставили членов Компартии — воспитание нового поколения нельзя было отдавать кому попало. Чаще всего это были учителя-историки. Но как раз именно по ним и по их науке пришлось самые жестокие удары перестройки. Объявленная Горбачёвым гласность открыла не только рты, но и тёмные глубины изувеченных душ. Героями толпы, улицы, митингов чаще всего становились те, кто надирывал голоса исключительно в беспощадной критике советского режима. В прошлой жизни государства запрещено было находить хоть одно светлое мгновение. Учебники по истории СССР, и прежде всего — советского периода — устаревали на глазах, не успевая за разоблачениями страны-ГУЛАГа. Учителя вклеивали в них газетные и журнальные вырезки, записи с митинговой информацией, которую бросали в толпу глашатаи, нисколько не заботясь о её достоверности. Те из учителей истории, кто “отставал от времени”, уходили сами или их выталкивало “общественное мнение”.

Суховатая лицом, плоскогрудая Овцова преподавала химию. Мрачные страницы этой науки были похоронены ещё во тьме Средневековья. Даже печальные судьбы шарлатанов-алхимиков, обещавших королям горы золота из подручных материалов, вроде свинца, и повешенных за обман, закрывала гу-

стая пелена времени. Поэтому наука химия к политике давно не имела никакого отношения — вода при всех экономических формациях и политических режимах состояла из водорода и кислорода.

Но саму Нину Захаровну политика захватывала всё сильнее. Она возбуждала её, словно предчувствие близкой постельной страсти, которую не первой молодости женщина в последние годы испытывала с большими перерывами. Когда Овцова начинала говорить о партократах, об их сопротивлении перестройке и демократическим переменам, на её бледно-серых щеках, на лбу и даже на подбородке появлялись алые пятна. Темно-карие глаза за стёклами очков расширялись, и Нина Захаровна чувствовала, что пальцы начинают покалывать какие-то импульсы. После этого ей хотелось схватить противника руками и, не имея другого оружия, хотя бы поцарапать ему лицо.

Завучем школы, где Овцова преподавала химию, а Волков — французский язык, была учительница истории. Она пришла в классы в 1961 году. Новые учебники ещё клеймили культ личности Сталина, а полиграфисты уже готовили книжки о “великом десятилетии дорогого Никиты Сергеевича”. После развенчания хрущёвского волонтаризма, советская история долго обрела брежневский “верный курс”. Его разгром, начатый перестройкой, и определение предыдущего пути как *дороги в никуда*, сбили с толку миллионы людей. Историки, наравне с партократами, стали “кастой неприкасаемых”. Заведующая учебной частью, на которую кто смотрел с сожалением, кто, мстя за прежние строгости, с лёгким злорадством, тяжело заболела. Нина Захаровна, попробовав себя оратором на небольших митингах, пришла к директору. Она назвала усталого от нарастающих хозяйственно-экономических проблем школы пожилого мужчину с печальными глазами партокротом, повторила ему слова Горбачёва: “Мы их будем давить сверху, а вы давите снизу”, — и потребовала себе должность завуча.

Через некоторое время учительскую было не узнать. Если раньше об уродливых моментах советского режима разговор заводила Овцова, пытаясь втянуть в него других и раскатать консервативно-настороженное сообщество, то теперь ей не надо было выходить вперёд. Три-четыре молодых учительницы, которые ездили с нею на митинги, вместе бывали на каких-то собраниях, первыми начинали обличительный приговор. Оставаться в стороне оказывалось всё труднее. Овцовские демократки прямо обращались к кому-нибудь из коллег: “А вы как думаете?” Не все думали в унисон с ними, и в учительской тут же разгорался идеологический пожар.

Волков обычно садился на своё место в углу — он с армейских лет не любил неприкрытой спины, и чаще полуслушал, чем вникал в истеризм демократии. Овцова старалась его не задеть, а это было своеобразной командой её активисткам.

— Ты не понимаешь, почему к тебе не пристают? — спросил как-то учитель физкультуры Мамедов, с которым у Волкова давно сложились доверительные товарищеские отношения. — Нина Захаровна хочет тебя.

— Случайно не заболел, Камал Османых? — с удивлением уставился на него Волков. — Да я лучше хрен на пятаки изрублю, чем лягу с ней. Это при моей-то жене! А вот ты чего теряешься?

— Старая она, Владимир Николаич. Сорок пять будет, — сказал Мамедов, который был лет на десять старше Волкова. — А потом, Нина Захаровна меня не любит. Мусульманин. Тебя любит.

— Брось ерунду. Мусульманин... христианин...

Волков улыбнулся, вспомнив Андрея Нестеренко.

— Как говорит один мой друг: это не имеет никакого полового значения. Скажи, боишься: потом не отпустит.

Овцовой действительно нравился Волков. Высокий — на голову выше не маленькой Нины Захаровны, с волнистыми тёмными волосами, всегда в отглаженном костюме и свежей рубашке (“Жена старается”, — ревниво отмечала завуч), учитель французского языка выделялся редким для своей среды аристократизмом. Он умел пошутить, но безобидно. Мог твёрдо с кем-то не согласиться, однако собеседник чувствовал, что его мнение уважают. Единственное, что не нравилось Нине Захаровне в Волкове, — его сталин-

ские усы: выпуклые, почти все тёмные и лишь снизу рыжеватые — от сигарет. Заботливость, с которой он ухаживал за ними, настораживала Нину Захаровну, и ей казалось, что Владимир Николаевич не совсем тот, за кого его принимают учителя, подпадая под обаяние тёплого взгляда светло-карих волковских глаз. Один раз она увидела этот взгляд другим — холодным и острым, как осколок тёмного стекла. Тогда, начав очередной разговор о сталинских репрессиях, она рассказала в учительской о родном брате матери, которого Октябрьский переворот 1917 года “сделал человеком”. Сначала малограмотный местечковый парень из большой еврейской семьи стал бойцом в охране Троцкого, приводя в исполнение приказы “кровавого Лейбы” “о расстреле каждого десятого в частях, отказывающихся идти на фронт. В конце гражданской войны его назначили комиссаром интернационального отряда, который в составе армии Тухачевского подавлял восстание тамбовских крестьян. “Дядя Фима действовал решительно”, — сказала Овцова и не без гордости добавила: “Это — наша семейная черта”. В начале 30-х годов строил Беломорканал, получил орден. Его отряд был всё время впереди. “Какой отряд?” — спросил Мамедов. “Ну, не пионерский же”, — язвительно заметила учительница географии, которая первой начинала спорить с Ниной Захаровной. Овцова поджала накрашенные губы: “Да, не пионерский. Из врагов народа. А вам, Камал Османых, пора научиться говорить по-русски. Отряд...” После дядя работал в центральном аппарате ОГПУ. “А в 37-м его, как и миллионы других, расстреляли”.

Вот тогда Нина Захаровна увидела тот незнакомый стеклянный взгляд Волкова.

— В чём дело, Владимир Николаевич? Вы не верите в масштаб репрессий? Даже Хрущёв об этом говорил.

— Ну, Хрущёв ещё тот свидетель, — усмехнулся Волков. — Весь облит кровью невинных... Лично сам подписывал документы о расстреле. И не раз в этом деле лез, как говорят у него на Украине, “попэрэд батьки у пэкло”. Так што чья бы корова мычала...

Для Волкова с недавних пор Хрущёв стал зловецей фигурой. Раньше он о нём не думал и даже не очень помнил, как тот выглядел. Владимиру было 11 лет, когда “волонтариста” и “кукурузника” убрали из руководства страной, после чего Хрущёв исчез из всех официальных и пропагандистских упоминаний, словно его никогда не существовало. Поэтому поколение Волкова входило в сознательную жизнь с другими фамилиями руководителей, с другими портретами и славословиями. Если бы не отец, Владимир, может, долго не знал бы, кто был предшественником Брежнева. Отец ненавидел Хрущёва. День, когда того сняли, смутно запомнился Владимиру двумя эпизодами: отец сильно напился, чего с ним не бывало никогда, и несколько раз повторял соседу дяде Васе: “Жалко, оставили живым, скотину. Надо было расстрелять, как он делал”.

Потом долгое время никто, с кем Владимир рос, о Хрущёве не говорил и никого он не интересовал.

Пока не началось *утро перестройки*. Жена Волкова — журналистка — стала приносить разные документы прошлого времени. Её заинтересовало, что было в обвинениях Сталину справедливым, а что, со страху быть разоблачёнными, приписывали ему соратники. Однажды принесла большую папку. Волков, которого до той поры политика занимала от случая к случаю, прочитал выдержки из выступлений, копии писем и телеграмм. И был потрясён. Телеграммами и записками Ленина, который то и дело требовал расстрелять, повесить, предать суду трибунала. Выступлениями крупных деятелей, которые в 30-е годы требовали у Сталина дополнительных рычагов террора.

Особенно поразили его некоторые материалы о Хрущёве. Тот снова становился “героем времени”, теперь уже нового времени. Его доклад на XX съезде партии о культуре личности Сталина и сталинских репрессиях 1937–1938 годов опять стали поднимать на щит как поступок честного и смелого общественного деятеля. Но из принесённых женой документов, как из сумерек прошлого, вырастал совсем другой его облик. В январе 1936 года, ещё до начала массовых репрессий, он заявляет на пленуме Московско-

го горкома партии: “Арестовано только 308 человек: для нашей московской организации — это мало”. Май 1937 года. Пленум МГК партии. Хрущёв требует: “Нужно уничтожать этих негодяев. Уничтожая одного, двух, десяток, мы делаем дело миллионов. Поэтому нужно, чтобы не дрогнула рука, нужно переступить через трупы врагов на благо народа”. Июнь 1938 года. Хрущёв всего шесть месяцев работает первым секретарём Компартии Украины. Записка: “Дорогой Иосиф Виссарионович! Украина ежемесячно посылает 17–18 тысяч репрессированных, а Москва утверждает не более 2–3 тысяч. Прошу Вас принять срочные меры. Любящий Вас Н. Хрущёв”. Из Москвы телеграмма: “Уймись, дурак! И. Сталин”.

Поэтому ссылка Овцовой на Хрущёва и слова о миллионах расстрелянных вывели Волкова из равновесия.

— Откуда вы взяли миллионы расстрелянных? — с раздражением спросил он. — Сейчас открываются новые документы. Количество расстрелянных в 37-м в десятки раз меньше. Вы понимаете: в десятки!

И с грустью добавил:

— Хотя и за одного невинно убитого нельзя простить. Ни в 37-м убитого, ни раньше.

Волков замолчал, пытаясь успокоиться. Так получилось, что буквально несколько дней назад он прочитал о том, как душили крестьянское восстание на Тамбовщине. Отрядами интернационалистов окружали село. Собирали сход. Брали заложников из числа видных людей: священников, учителей, фельдшеров. Отводили два часа на выдачу оружия, скрывающихся повстанцев, их семей. Если выдачи не было, снова собирали сход. На глазах у всех расстреливали заложников. Опять брали новых заложников — и всё повторялось. А летом 1921 года по приказу Тухачевского против крестьян стали применять химическое оружие. Химическими снарядами обстреливали деревни без разбора. От газов больше всего гибли дети, женщины и старики, потому что повстанцы скрывались в лесах.

— Ваш дядя не рассказывал, сколько безвинных было погублено?

В учительской наступила тишина.

— Что вы говорите? — воскликнула, наконец, одна из молодых соратниц Овцовой. — Его же репрессировали до рождения Нины Захаровны!

— Значит, что делал он — это героизм. Не назвал крестьянин своё имя — расстрел прямо на месте... Без суда и следствия. А как с ним поступили — это репрессии? Вы знаете, Нина Захаровна, как душили Тамбовское восстание? Газами душили. Европа осудила применение газов даже на войне. Против иностранных врагов. А тут — против своего народа... Хотя, какого своего... Будущий маршал с интернациональными отрядами... там и ваш дядя был... приказал стрелять химическими снарядами по женщинам и детям. А вы нам преподносите Тухачевского жертвой Сталина...

— Да. Этот зверь Сталин уничтожил цвет народа.

— Должен вам сообщить, что российский цветник начали вырубать намного раньше. Вы слышали, наверно, о рассказывании? В январе девятнадцатого года Свердлов подписал секретную директиву... Она требовала поголовного истребления... Не тараканов... Не мышей... Людей! Казаков!..

— Ужас какой-то! — негромко воскликнула немолодая учительница математики. — Не может быть!

— Может, Анна Петровна... может. Троцкий, выступая на собрании политкомиссаров Южного фронта, заявил: “Уничтожить казачество как таковое, рассказать казачество — вот наш лозунг”. Якир, которого сейчас представляют невинной жертвой сталинских репрессий, лично подписал приказ о процентном уничтожении мужского казачьего населения. А вы говорите: не может.

— У вас как в “Памяти” — одни евреи виноваты! — ядовито бросила Овцова.

— Не надо тень на плетень, — строго одёрнул её Волков. — Не надо! Оставьте эти свои штучки. Если критикуют татарина, армянина, азербайджанца — это нормально. Особенно — когда русского... А если еврея, то это антисемитизм. Всякие были. Русский Подтёлков... Русский Сырцов... Этот

требовал за каждого убитого красноармейца расстреливать сотню казаков. И других хватало. Латыши... Магьяры... Даже китайцы... Интернационал... Специально присылали. Мы называем массовое убийство евреев немцами и их пособниками Холокостом. Сочувствуем армянам, которых убивали в Турции в начале XX века. Для армян — это геноцид. Приводятся разные цифры. Кажется, от трёхсот тысяч до полутора миллионов. А как назвать расказачивание, в ходе которого уничтожено около четырёх миллионов человек? Это не Холокост? Не геноцид?

Волков достал пачку сигарет. В учительской, кроме них с Мамедовым, мужчины не бывали. Камал Османович не курил. Поэтому женщины, в большинстве своём незамужние, не только разрешали, а иногда даже просили, чтобы Владимир Николаевич закурил: “Пусть мужским духом запахнет”.

Он закурил. Сел в свой угол.

— Я Сталина полностью не оправдываю, Нина Захаровна. Всё, что происходит на корабле — хорошее и плохое, — за всё отвечает капитан. Как сегодня наш Горбачёв. Были невинные жертвы. Я недавно увидел один список. Конохов... Счетовод... Секретарь сельсовета... Самый большой начальник — какой-то деятель из райкомхоза. Но нельзя всё валить только на Сталина! Не он решал судьбу коноха и счетовода, а те, кто были на местах. Вы сослались на свидетельство Хрущёва... Доклад он сделал на съезде... О сталинских репрессиях. А люди ещё тогда знали... не все, конечно, но некоторые знали: там, где был руководителем Хрущёв, там надо было говорить о хрущёвских репрессиях.

Сейчас идут дополнительные проверки того времени. Многие документы Хрущёв приказал уничтожить, когда стал первым секретарём ЦК. Есть живые свидетели этого. Но немало осталось. Не знаю, известно ли вам, что Сталин при подготовке Конституции тридцать шестого года лично вписал в неё статью о выборах депутатов на альтернативной основе. Всех депутатов. От маленьких — до самых больших. Конечно, партийные бонзы испугались. Кто ж их выберет? Такого натворили! Но в открытую выступить против — опасно. Тогда с разных сторон загудели: из центра, мол, не видно, сколько на местах появилось врагов советской власти. Первый секретарь Западно-Сибирского крайкома партии Роберт Эйхе — латыш с двухклассным образованием — предложил для быстрого решения “вражеской” проблемы создать так называемые “тройки”. Три человека: партийный секретарь, начальник местного НКВД и прокурор (главный здесь — партийный секретарь) — должны без всяких судов, оперативно принимать решения относительно “врагов народа”.

Конечно, “добро” на создание “троек” принимало Политбюро. Каждый расписался персонально. Но откажись Сталин это сделать, ближайший пленум, состоящий из этих “бонз”, мог обвинить его в отходе от классовой борьбы и предательстве интересов партии. Какие уж тут выборы на альтернативной основе!

Для Эйхе “враги народа” исчислялись не единицами, а массами. Он ещё в тридцать третьем году в телеграмме Сталину предложил “принять и устроить” в самых гибельных местах Севера “пятьсот тысяч спецпереселенцев”.

— Кто эта? — мрачно спросил Мамедов.

— Кулаки в основном... Наверно, и другие “враги народа”. А после отправки нескольких эшелонов троцкистов на Колыму он в декабре тридцать шестого года заявил на пленуме ЦК: “Для какого чёрта, товарищи, отправлять таких людей в ссылку? Их нужно расстреливать. Товарищ Сталин, мы поступаем слишком мягко”. Это что? Указание Сталина? Или наоборот? Указание Сталину? За один тридцать седьмой год “тройка” под руководством Эйхе репрессировала почти тридцать пять тысяч человек! Вы представьте себе это количество людей! Целый город! Таких же, как мы с вами, людей... Мужчин... Женщин... И три негодяя... три убийцы... этого Эйхе называли “мясником” — решали в течение нескольких минут судьбу любого из нас. Расстрелять... Отправить на годы в лагеря...

И ваш Хрущёв, Нина Захаровна, когда руководил Москвой и Московской областью, лично участвовал в массовых репрессиях. Его “тройка” в

день выносила расстрельные приговоры сотням людей. В день! Сотни жизней! За два года — тридцать шестой и тридцать седьмой — они репрессировали больше пятидесяти пяти тысяч человек.

На закрытом пленуме ЦК в январе тридцать восьмого года Маленков назвал его “перегибщиком”. Сказал, что проведённая в Москве проверка исключений из партии и арестов обнаружила: большинство осуждённых вообще не виноваты.

Волков помолчал, раздумывая: надо ли говорить об украинской записке Хрущёва и ответе на неё Сталина — вроде как растерянной показалась ему Овцова. Однако приглядевшись, разобрал: не растерянность это, а кипящая злость. “Ну, чёрт с тобой!” — решил Владимир и, рассказав про украинские “подвиги” Хрущёва, спросил:

— Как вы считаете, такие люди должны понести наказание?

— Конечно! — заявил вместо завуча Мамедов.

— Настороженный таким невероятным количеством “врагов”, Сталин приказал провести массовые проверки. Многих людей освободили. Тех, кто истязал, пытал, кто фабриковал незаконные обвинения, самих привлекли к суду. Жалко, не всегда за их подлинные преступления перед народом... Но возмездие пришло. Эйхе — этого кровавого палача — расстреляли. Других — тоже.

Однако Хрущёв сумел вывернуться. Теперь он — герой. А наказанные убийцы сотен тысяч людей, те, кто сами топтали человеческую суть и плоть, сегодня, благодаря их потомкам, — конечно, никому не хочется иметь предка-палача, — вдруг попали в число жертв сталинских репрессий. Не цирк ли? Спасибо, разумеется, Никите Сергеечу за начало реабилитации безвинно пострадавших. Всем, кого эти эйхи и берии незаконно определили преступниками, надо вернуть честное имя. Но надевать нимб святого на мученика и на мучителя — всё равно, что ставить памятник маньяку Чикатило. В Библии, кажется, сказано: по делам их воздастся им.

Волков затушил сигарету в пепельнице и завернул окурочек в тетрадный листок. Его он потом выбрасывал в урну, чтобы не было в учительской запаха старой пепельницы. Кто был в учительской, стали расходиться. Только молодые фурии Нины Захаровны настороженно взглядывали то на Волкова, то на свою предводительницу. Было заметно: она не в себе. Её репутацию изрядно потрепал этот элегантный, успокоившийся уже мужчина.

После того случая Овцова какое-то время не могла смотреть на учителя французского языка. Боялась — сорвётся и вцепится ему в усы. Но постепенно острая злость отошла, пока новые стычки не сделали Волкова главным врагом Нины Захаровны.

В последний раз началось, как это часто стало случаться, с бытовой проблемы. Бухгалтерия снова задержала зарплату, но теперь дольше прежнего. Многим учителям уже едва хватало от полочки до аванса, и когда Овцова вошла в учительскую, её сразу спросили о деньгах.

— У меня их нет, — отрезала завуч. — Наши зарплаты съедает это чудовище — советский военно-промышленный комплекс. На один танк дармоеды тратят годовую зарплату школы. Сделали миллион танков, а куда девать — не знают. Говорят, если поставить их друг за другом, можно обогнуть земной шар.

— Да нет! Достанут до Луны, — бросил из своего угла Волков.

— Всё иронизируете, Владимир Николаич? Мы тратим на вооружение в пять раз больше американцев. А зачем? Лишь бы только торговать оружием. Вооружать преступные режимы. Позор! Деньги выше морали! Не зря нас называют “империей зла”. С грязным делом — впереди планеты всей. Да что говорить! Безнравственная страна!

На следующей перемене Волков позвонил Слепцову и сразу после уроков поехал к заводу.

— Скажи, Паша, если не секрет, мы действительно тратим на вооружение в пять раз больше американцев? — спросил он, как только сел в машину экономиста.

— С чего ты взял?

— У нас в школе завуч... Ну, совсем затоптала Советский Союз. Бардак, конечно, — трудно спорить. Полный бардак. Добрались уже до зарплат. Стали задерживать. Но неужели мы, в самом деле, настроили миллион танков и не знаем, куда их девать? Оружия продаём больше всех? Эта сушёная вобла говорит: мы — лидеры грязного дела.

— Скажи вобле: это неправда. Просто ложь. На первом месте по торговле оружием — Соединённые Штаты. Мы отстаём от них. Значительно отстаём. Продаём на шестнадцать—восемнадцать миллиардов долларов в год. Они — на тридцать—тридцать два миллиарда. К тому же в реальности до нас доходит намного меньше. Отдаём в долг. За идею... За бананы-апельсины... Американцы — те умеют считать. Берут деньгами.

Но имей в виду: другие страны тоже торгуют оружием. Англия. Франция. ФРГ. Никто не стесняется этого. А Израиль, по моим сведениям, чуть ли не на втором месте.

— Вот это малыш! — воскликнул удивлённый учитель. — Слушай, поехали ко мне. Я купил новое ружьё.

Пока ехали по разбитым осенним улицам, Павел больше молчал — выбирал дорогу. Когда “Волга” попадала в яму, вздрагивал, морщился, словно от боли. На волковской кухне, рассмотрев хорошую ижевскую “вертикалку” — бокфлинт — отошёл. Снова вернулся к тревожным вопросам товарища.

— Вторая сторона дела, Володя: кому продаётся оружие? Мы тут не ангелы. Папуас скажет: мне нравится социализм — мы ему автомат. Наш автомат Калашникова есть в гербе у нескольких государств. Помог им завоевать независимость.

— Не может быть!

— Да, да. Сам видел. Приезжали покупатели... Но на той стороне... там, где американцы с остальными... Там черти намного почертей наших. Продают оружие и запрещённым странам, и даже против своих законов. Читал про “Иран-контрас”?

Волков неуверенно пожал плечами.

— Громкая была история. Закончилась три года назад. Твоей вобле полезно узнать.

Однако история оказалась занимательной и для Волкова. Слушая Слепцова, он вспомнил, что встречал публикации о ней в разных газетах. Но привычный, как многие в стране (не без воздействия зарубежных радиостанций, умело использующих полуправду советской “беспроblemной” пропаганды), воспринимать критику западного общества скептически, он сейчас с интересом слушал товарища.

Начало той скандальной истории положили события в Иране. В феврале 1979 года проамериканский режим шаха Реза Пехлеви был сброшен, к власти пришёл духовный лидер шиитов аятолла Хомейни. Этот факт заставил задуматься наиболее дальновидных политиков мира. Впервые в новейшей истории всего за несколько месяцев ислам организовал десятки миллионов людей на смену государственного строя.

Но американцы обеспокоились по другой причине. В результате исламской революции США лишились ценного союзника, чья территория примыкала к СССР и откуда они вели активную разведку против Советского Союза.

Одновременно ещё более серьёзные неприятности возникли у США в Центральной Америке. В том же году к власти в Никарагуа после долгой партизанской войны пришёл Сандинистский фронт национального спасения, свергнув американского ставленника, диктатора Сомосу. Сандинисты не скрывали, что придерживаются социалистической ориентации. В Штатах с тревогой увидели призрака “второй Кубы”.

В 1980 году на президентских выборах в США победил Рональд Рейган. Он объявил Советский Союз “империей зла”, которая только и делает, что вмешивается в дела других государств. Однако сам в сентябре 1983 года подписал секретную директиву, разрешив ЦРУ вести тайные операции по ликвидации сандинистской власти в Никарагуа. Тем самым Рейган и Центральное разведывательное управление нарушали закон США, который прямо запре-

шал финансировать операции ЦРУ для свержения никарагуанского правительства. То есть вмешиваться в дела другого государства.

Чтобы найти деньги, была придумана многоходовая комбинация с использованием Ирана. В течение предыдущих 25 лет он покупал американское оружие. Часть его устарела, но гораздо больше терялось в боях — Иран вёл долгую, изнурительную войну с Ираком. Новый режим, как и прежний, сильно нуждался в оружии и боеприпасах.

Купить их у американцев было невозможно: исламские власти объявили Соединённые Штаты своим врагом, и США специальным законом наложили эмбарго на поставку вооружений Ирану.

К тому же в 1984 году шиитская группировка “Хизбалла”, находящаяся под идеологическим контролем иранских фундаменталистов, захватила в Ливане группу американских заложников. В том числе — резидента ЦРУ в Бейруте Уильяма Бакли. Отношения между двумя странами зашли в тупик.

Выход подсказал Израиль. До исламской революции он активно продавал Ирану оружие, готовил специалистов шахской спецслужбы “Савак”. Несмотря на то, что после прихода к власти Хомейни официальные контакты были разорваны, Израиль старался мосты до конца не сжигать. Это пригодилось, когда американцы собрались, благодаря тайной продаже оружия, решить сразу две задачи: получить деньги для поддержки “контрас” (противников сандинистского правительства) и освободить заложников.

Все понимали, что планируемые операции дважды незаконны — нарушался как запрет на финансирование “контрас”, так и эмбарго на продажу оружия Ирану. Но цель оправдывала средства. 30 августа 1985 года первая партия из 100 противотанковых ракет “ТОУ” прибыла в Иран. 14 сентября в иранском Тебризе разгрузили ещё 408 американских ракет, доставленных из Израиля. На следующий день на свободу вышел первый заложник. Конвейер заработал.

Операция “Иран-контрас” могла продолжаться долго. Но 5 октября 1986 года над Никарагуа был сбит самолёт. Захваченный лётчик сообщил, что он из отрядов “контрас” и работает на ЦРУ. А вскоре в одной из ливанских газет появились сообщения о продаже оружия Ирану. Скандал стал набирать обороты.

Генеральный прокурор США начал расследование. Рейган открестился: “Я ничего не знал”.

— Три года назад в Штатах прошёл суд, — рассказывал Слепцов, поглаживая новое волковское ружьё. — Нескольким участникам операции... там были крупные чины, вплоть до помощников Рейгана... предъявили серьёзные обвинения. Заговор с целью обмана государства. Хищения государственного имущества. Мошенничество, лжесвидетельство... Короче, целый букет. По этим статьям в Штатах могут упрятать надолго. Вплоть до пожизненного... Но все получили только условные сроки.

— Ничего себе! Нравственные ребята. Надо Овцовой рассказать. Пусть порадует за своих кумиров. А то как перемена, так начинается: “Мы впереди всех... с грязным делом”. Наверное, и с расходами так же...

— С какими?

— Она ведь чем добивает наших тёток? Плохо, говорит, мы живём из-за больших расходов на оборону. Милитаристы мы... Тратим в пять раз больше американцев на военные дела. Представляешь? А возразить никто не может. Не знают: так иль не так?

— Не так, Володя. Но власть всё время даёт основания не верить ей. Ну, вот, например, ты согласишься, что в течение последних двадцати лет расходы Советского Союза на оборону остаются почти неизменными? Да за двадцать лет стоимость одних материалов для оружия должна была вырасти в разы! А ведь военная техника всё время усложняется, значит, становится дороже. Зачем людей за дураков держать? Мои ракеты... да, ладно, не буду о них... Наши правители не скрывают... даже гордятся военным паритетом с американцами. Но если паритет, значит, и расходы похожие. А они другие. Намного меньше. Наши идиоты во власти не называют настоящий военный бюджет, и люди думают: ага, выходит, “оборонка” действительно

разоряет страну. На самом деле не так. Многие наши разработки дешевле американских аналогов. Мы научились, старик, по важным направлениям обороняться очень экономно. Поэтому даже академик Сахаров признал: нет никаких шансов надеяться, што гонка вооружений истощит материальные и интеллектуальные ресурсы страны, и Советский Союз политически и экономически развалится.

Он помолчал, улыбнулся.

— Правда, мы к тому же умеем прятать военные концы в мирную воду. Но што американская разведка намного преувеличивает наши затраты — это факт. С одной стороны, можно больше денег затребовать у ихнего правительства на оборону. С другой — нашему обывателю есть возможность всучить любые цифры — истины-то никто не знает. Твоя вобла вон какую икру мечет! С чых-то слов, конечно. А молчание власти только помогает этому.

Волков с нескрываемым удивлением и уважением глядел на Слепцова. Он не представлял Павла таким разговорчивым да ещё и столько знающим.

— Вижу, вижу твой вопрос, — сказал тот с редкой для него веселинкой на худом лице. — Я вам не рассказываю про отца. Генерал, да и всё... А генералы, Володя, разные бывают. Ну, и сам кой чем занимаюсь. Аналитика, старик, интересная вещь. Один в фельетоне видит пример плохой жизни, другой — информацию.

* * *

Утром к учительской Волков подходил с азартным настроением. Он представлял, как ещё до уроков кто-нибудь спросит, будет ли сегодня зарплата, как Нина Захаровна опять скажет о бесстыдстве партократов, живущих за счёт простых учителей, назовёт врагом народа советский военно-промышленный комплекс, и с каким интересом будет потом слушать она и другие преподаватели умные разъяснения учителя французского языка. “Тоже ведь не сладкая жизнь, — думал он об Овцовой. — Мужа давно нет... да и был ли?” Впрочем, допустить, что Нина Захаровна родила дочку без мужа, вне брака, Волков не мог. До горбачёвской поры эта не выделявшаяся в коллективе женщина с удлинённым лицом и столбообразной фигурой, если и выступала на партсобраниях или заседаниях педсовета, то чаще всего с рассуждениями о чистоте взаимоотношений между людьми, о нравственном облике современной молодежи, который её всё больше беспокоил. Так что понятия “Овцова” и “свободная любовь” для многих были несовместимы. “А что муж? — продолжал думать Волков, кивая направо и налево на приветствия учеников. — Может, был какой-нибудь алкоголик. Поэтому и бросила... Теперь надо учить дочь-студентку. Да ещё мать на пенсии. Нет, не сладкая жизнь. А тут ещё я дёргаю...”

Ему стало неловко за свой недавний выпад. Поэтому когда Владимир Николаевич вошёл в учительскую, он был миролюбив, как сотрудник гуманитарной миссии до прибытия в очаг межнационального конфликта. Но его тут же огрели вопросом:

— Вы когда будете извиняться перед Ниной Захаровной?

Две молодые соратницы Овцовой смотрели на него в упор, как на стоящего у расстрельной стенки преступника.

— За што?

— За своё поведение. Вы ещё такой молодой человек, а уже ретроград. Весь народ за демократические перемены, а вы хуже партократа.

— Та-а-к...

Волков начал скручивать правый кончик уса, что было первым признаком раздражения.

— И в чём это проявляется?

От костерка миролюбия уже шло не тепло, а едкий дым.

— А вы не знаете, Владимир Николаевич? — сказала, поднимаясь Овцова. — В стране повсюду отказываются от назначенных руководителей трудовых коллективов. Демократическим путём выбирают из своей среды...

Тех, кто способен быстрее повести людей на слом тоталитарной машины. Меня хотели выдвинуть наши товарищи — Надежда Аркадьевна и Марина Викторовна...

Завуч показала на двух фурий демократии, расстреливающих взглядами учителя французского языка.

— ...директор наш — Виктор Петрович — уже устарел. Ему нужна замена. А вы сказали в учительской... Ну, это просто безобразие с вашей стороны!

— А што я сказал?

— Сказали: “Нине Захаровне нельзя давать власть. Она приведёт нас к беде. Она не знает, куда вести”.

— А-а, вон вы о чём. Да, я так говорил. Теперь ещё больше в этом убеждён. Для вас нет ничего хорошего в стране, где вы живёте. Мы тоже с ними (Волков показал на задержавшихся у двери двух математичек, физкультурника Мамедова и учительницу географии) далеко не всем довольны. С каждым днём становится хуже. Перестройка превращается в Разломайку. Но мы хотим сохранить страну. А вы — уничтожить.

— Зачем её сохранять — такую уродину? Ни еды, ни свободы, ни красивой одежды. Одни ракеты с танками. Это здание надо сломать. А на его месте построить новый, цивилизованный дом.

Волков нахмурился.

— Один раз уже сломали. До основанья. Ваш дядя постарался. Слава Богу, через дядь прошли. Поднялись... Стали второй державой мира... Теперь племянница бегаёт с топором. Вы тут говорили нам про танки. Про военно-промышленный комплекс. Призывали равняться на другие страны, которые, вроде бы, в отличие от нас, не торгуют оружием. А на деле-то всё оказывается совершенно не так!

Волков начал увлечённо пересказывать услышанное от Слепцова. Собравшиеся было уходить учителя остановились. Кто-то сел, но другие так и стояли, прижав к груди классные журналы или держа в руках стопку тетрадей. Для большинства это был первый рассказ, который приоткрывал истинное положение в оборонном комплексе Союза и показывал влияние ВПК на экономику страны.

Когда пошло про “Иран-контрас”, завуч встала.

— Вы подождите, Нина Захаровна, — остановил её Волков. — Сейчас будет самое интересное.

Он в деталях пересказал эту историю, усиливая, где голосом, где мимикой, отдельные моменты. Не забыл ни про суд, ни про увёртки американского президента Рейгана. А в конце назвал цифры, на сколько продают оружия США и на сколько — Советский Союз.

— Ваши любимые американцы продают в два раза больше. Значит, они в два раза безнравственней нас? А вы заставляете равняться на них. Куда ж вы поведёте с такими знаниями? Израиль — крошечная страна, а по торговле оружием среди первых в мире. Это тоже высокая нравственность?

Все уже не смотрели на Волкова. Глядели на Нину Захаровну. Её лицо было в красных пятнах. Ярко накрашенные губы тряслись, словно их изнутри что-то толкало, пытаясь вырваться наружу. Наконец, завуч не выдержала.

— В-вы... Вы — наха-а-л! — крикнула она, широко открыв рот. И в этот момент, когда ещё звучало яростное “а-а-а”, бюгельный зубной протез внезапно выскочил у неё изо рта. Сверкнул возле верхней губы и, если бы не молниеносный взмах завучевой руки, упал бы на пол. Нина Захаровна на лету остановила его ладонью, рывком двинула голову вперёд и почти в воздухе схватила ртом бюгель. “Как шука блесну”, — с изумлением подумал Волков. Он не знал об искусственных вставках во рту Нины Захаровны и потому растерянно замолчал, догадываясь, что теперь он для Овцовой ещё больший неприятель. Женщина может многое простить, но только не разоблачение — пусть невольное — её физического недостатка.

— Откуда ваши сведения? — срываясь на визг, крикнула она. — Из КГБ?

— Мои — от советского экономиста. А ваши — из ЦРУ? — с издевательской вежливостью спросил Волков, застёгивая портфель, чтобы идти на урок. В коридоре его догнал Мамедов.

— Ну, тэпер, Владимир Николаич, тэбя достанут. Нына Захаровна будэт твой личный враг. Скушаит.

— Подавится, — спокойно ответил учитель французского и пошёл в класс.

Глава седьмая

С того времени Волков больше не слышал в учительской про безнравственность торговли оружием, про отнимающий у народа деньги военно-промышленный комплекс СССР, про советские траты на вооружение, в пять раз превышающие американские расходы. И вот теперь всё это, почти слово в слово, повторил Карабанов.

— Откуда у тебя такие сведения, Сергей? — насторожился он. — Ты ничего не путаешь?

Ему вдруг показалось, что такие совпадения не случайны. “Как же я не замечал, — хмуро думал он, — организованности всех этих разных акций. Мария сорвалась, как по чьей-то команде. Говорила, их много едет. Сотни тысяч. С “оборонкой” так же. Будто сигнал дали...”

Действительно, масштабная и агрессивная критика советского ВПК началась словно по чьему-то приказу. Вот когда реальное достижение советской системы — невероятная дешевизна и доступность прессы, благодаря чему она проникала в самые отдалённые уголки страны, — это достижение стало разрушительным инструментом ещё на одном направлении. Многочисленными тиражами газет и журналов, передачами радио и телевидения на людские массы обрушилась лавина негативной информации о военно-промышленном комплексе Советского Союза. Его ругали за вроде бы недопустимую прозорливость, за неэффективность огромных трат, за низкое качество вооружения. При этом иностранное оружие, и прежде всего — американское, преподносилось как эталон экономичности и более высоких боевых свойств.

Говорить и писать что-либо против этого было равносильно попытке перейти бурную реку по поясу глубины. Люди легче верили непривычной, отвязной критике, нежели осторожным вразумлениям, принимая их за осточертевшую пропагандистскую полуправду. К тому же в большинство самых тиражных газет и журналов, быстро разбухших как раз благодаря именно такой критике, пробиться с другим мнением стало невозможно. Гласность оказалась односторонней. Люди, называющие себя демократами, в мгновение ока стали беспощадными цензорами, определив, что свободы слова достойны только те, кто думает так же, как они.

Поскольку никого из представителей ВПК и других государственных структур было не видно и не слышно, то для миллионов людей оборонный комплекс вскоре превратился в личного врага, который только отнимает возможность жить лучше.

Но Волков-то слышал от Слепцова совершенно иное.

— Ты где взял такие данные? — повторил он доктору свой вопрос. — Паша мне недавно рисовал совсем другую картину. А он, как понимаешь, знает дело. Подтверди, Пашка.

Карабанов заёрзал, как мальчишка, которого застали за постыдным делом. Однако быстро взял себя в руки.

— Сейчас об этом на каждом углу говорят. Кончилось время заткнутых ртов. Почему у американцев покупают оружие? Оно лучше нашего. Мы полезли со своим оружием... С армией своей... Советской... в Афганистане получили по зубам, потеряли людей и ушли с позором. Не могли дикий народ придавить! Вот американцы бы с ним разделались за две недели.

— Ай-я-яй, — с издёвкой запричитал Нестеренко. — И тут твои американцы лучше нас. Только почему-то сначала по зубам дали им. Во Вьетнаме. А тоже хотели быстро разделаться с диким народом.

— Наши помогали. Давали ракеты. Самолёты. Сами косили под вьетнамцев.

— А кто помогал душманам в Афганистане? Может, марсиане? Иль всё ж американцы своим оружием и советниками?

— Нашей армии какое ни давай оружие — всё равно толку не будет. Привыкли мясом побеждать, трупами устилать дорогу. Была бы хоть потом польза, а то победители живут хуже побеждённых...

— Ты о чём это? — мгновенно помрачнел Волков. Медленно приподнялся с табуретки и, наклонившись к Сергею через стол, тихо спросил: — Никак всё ещё жалеешь?

Тот отвёл взгляд, и учитель понял, что Карабанов несколько не обрадовался после того тяжёлого для них обоих разговора.

* * *

Тогда они возвращались вдвоём на карабановской машине с летней рыбалки. Поездка получилась не за рыбой, а за каким-то радостным отдохновением. Давно оперированный Сергеем пациент вдруг вспомнил про доктора, написал ему на больницу письмо, где рассказал про себя, про свою деревню и пригласил “дня два пожить в лугах”. В конце, для большей убедительности, приписал: “Если пожелаете, то не пожалейте”.

Они не пожалели. За годы поездок видели много интересных мест, но такой душевной и трогательной красоты, кажется, не встречали. Деревушка из двух десятков старых, однако ещё крепких изб пристроилась на краю обширной неглубокой котловины. В самом низу её блестело озеро. К нему, судя по извилистой ленте берегового кустарника, петляла речушка. Куда из озера вода уходила, и вытекала ли она вообще, издалека понять было трудно. Не считая кустарниковой ленты, весь остальной простор низины занимали луга. Леса, удивительно могучие, малохоженные для обжитой предсеверной России, остановились у краёв котловины, подойдя близко и к деревушке.

Карабановский пациент Николай Петрович встретил их с мягкой простотой, спокойно и без удивления, словно не сомневался в том, что доктор Сергей Борисович обязательно придет “в луга”.

С дороги учитель и доктор жадно накинулись на деревенскую еду — молодую картошку с укропом, на свежие, только что сорванные и ещё колющиеся огурцы, солёные рыжики и жареные подосиновики, а Николай Петрович — на городскую колбасу, мягкий сыр и баловство из фетисовского “заказа” — оливки с лимоном.

Гости поставили на стол три бутылки водки — антиалкогольная горбачёвская кампания провалилась, и теперь спиртное можно было покупать официально, если, конечно, удавалось “достать” — очереди за водкой стали ещё многолюдней и злее. Николай Петрович принёс из погреба самогон — его он гнал до горбачёвской “борьбы”, в ходе её и не собирался останавливаться в обозримом будущем.

Напробовавшись того и другого, городские и хозяин вяло побрели к озеру. Недалеко от впадения речушки поставили сеть. После чего учитель и доктор, взяв спиннинги, пошли облавливать берега, а Николай Петрович вернулся в деревню топить баню.

Вечером они млели на тёплых деревянных полках уже немолодой бани, пили самодельный брусничный морс и размякали в горячих запахах распаренной берёзы, можжевельника и зверобоя.

Доктор лениво спрашивал хозяина про самочувствие после операции, тот так же разморенно отвечал, а Волков вполуха слушал их и думал, как хорошо, что у него есть такой товарищ. Он обожал Сергея едва ль не с того раза, когда Карабанов впервые появился в их компании. И хотя в последнее время взгляды их всё чаще расходились, что заставляло Волкова переживать, тепло того большого уважения продолжало быть ощутимым.

Загонные зимние охоты на крупного зверя — лося, оленя, кабана, — как правило, требуют много людей. Нужны несколько загонщиков, но ещё больше — стрелков, чтобы охватить вогнутой дугой значительный массив леса. Обычно приезжают уже заранее сколоченные команды — чужих в устоявшийся коллектив берут неохотно. Неизвестно, как люди себя поведут, какой у них опыт, как стреляют.

Но бывает, что приезжают две-три небольших группы. Тогда руководитель охоты — для успеха — соединяет их в одну команду: выход зверя на кого-то из десяти-двенадцати стрелков более гарантирован.

Волковская компания уже начала складываться: вчетвером съездили на несколько охот. Приглядывались друг к другу, пока не знали характеров, манер, житейских привычек каждого, старались быть осмотрительней. Через некоторое время поняли, что вместе им комфортно.

Однажды приехали за лосём. Их четвёрку объединили с пятью незнакомыми охотниками. Как оказалось, там некоторые увиделись впервые.

Охота задалась нелепая. Стрелки из другой команды сначала по зверю промазали. Лось ушёл через “номера”. Во втором загоне, организовать который потребовалось много времени, они зверя только ранили. Егеря, ругаясь, пошли по следу, а всем городским велели выходить к оставленным на шоссе машинам.

Короткий зимний день быстро гас. Волковская группа вышла к дороге в сумерках. Остальных не было. Начали сигналить, стрелять. По темноте пришли трое, двое оставались где-то в лесу. Уже егеря вернулись, стали беспокоиться. Наконец, после очередной пущенной ракеты, далеко в лесу раздался выстрел. С фонарями и криками пошли навстречу. Через некоторое время встретились. Карабанов вёз лежащего на лыжах человека. Тащить ему пришлось далеко. Охотник, стоявший на последнем “номере”, услышал карабановское “отбой”, но вместо того, чтобы пойти по лыжне вслед за доктором, решил срезать путь. Карабанов думал, что мужчина идёт за ним. Но неожиданно услышал где-то сбоку, в глубине леса, пронзительный крик. Со страхом повернул на него — крик хоть и стал слабее, но не прекращался. Минут через двадцать увидел человека, который не стоял, не лежал, а словно повис наискосок в воздухе — ноги в снегу, а голова над буреломом.

Оказалось, мужчина попал лыжей в невидимое под снегом нагромождение ломаных стволов. Падая набок, вывернул стопу. Но самое драматичное — острым, как копьё, суком проперол штанину и проткнул бедро.

Счастье мужика, что услышал его хирург. Он быстро освободил охотника, снял с себя рубаху, разорвал её и сделал перевязку. Понимая, что самому будет жарко, а раненого надо одеть потеплее — неизвестно, сколько тому придётся лежать на лыжах, — Карабанов натянул на него свой свитер.

Когда их встретила группа мужчин — с егерями отправились Волков и Нестеренко, раненого трясло, а Карабанов дышал, словно загнанный лось. Уже тогда, лет в тридцать, он был заметно толстоват. Нижняя нательная рубашка насквозь промокла, и даже на куртке под мышками выступили влажные пятна.

Возле машин Карабанов умело перебинтовал пострадавшего — только тут все узнали, что он хирург, а затем поехал вместе с раненым в районный городок.

Перед отъездом Волков пригласил доктора на следующую охоту с их компанией — лицензия оставалась неиспользованной. Новые товарищи не возражали.

Постепенно Карабанов стал своим в небольшом охотничьем коллективе. Он много знал в разных областях: от истории и литературы до плотницких дел и собаководства, не говоря, конечно, о медицине. Особенно интересовался политикой — читал не только издаваемое в Советском Союзе, но и привозимое из-за границы. Постоянно слушал “Голос Америки”, “Свободную Европу”, Би-би-си, “Немецкую волну”. Первым приносил кассеты с популярными на Западе исполнителями. Не отказывал товарищам в разных медицинских справках. Несмотря на растущую тучность, был вынослив, когда приходилось далеко идти на лыжах. Стрелял почти, как “снайперы” Волков и Слепцов, а в иронии порой не уступал Андрею Нестеренко.

Правда, ирония эта, особенно по поводу власти, была чем дальше, тем более уничижительной. Остальные тоже поругивали власть, пародировали, кто как умел, речь Брежнева, недобро говорили о дефиците, ёрничали по поводу выборов без выбора — из одного кандидата.

Но у Сергея оценки получались злее, и он не раз говорил, что гримасы *системы* — это и есть подлинное лицо народа. Каждый народ, повторял доктор, имеет ту власть, которой заслуживает.

С ним в чём-то соглашались, что-то оспаривали. Сначала Андрей Нестеренко. Потом Волков. И если инженер-электрик, двигая бровями, не очень выбирал слова, то учитель старался обходительно переубедить Сергея. У каждого народа, говорил он, есть подъёмные и провальные периоды. Ни один народ не избежал этого. Но только история покажет, каким в действительности был тот период, который современниками оценивался со знаком плюс или минус.

Когда возвращались с рыбалки, снова зацепили власть и народ. Бензин в карабановских “Жигулях” был на исходе. Пришлось сворачивать к окраине маленького городка. Заправки почему-то ставили в населённых пунктах, а не на трассах, где они были нужнее всего. Причём одна от другой находились так далеко, что люди не рисковали ехать без запаса.

— И как тебе нравится это стадо? — бросил Карабанов, подъезжая к АЗС. К двум колонкам выстроилась большая очередь. Она продвигалась медленно — водители заливали бензин в машины и в канистры. Некоторые пытались словчить — протиснуться вперёд. Их осаживали: с матерщиной, злобными криками.

— Нормальный, не скотский народ давно бы сбросил такую власть, — сказал Карабанов, останавливаясь в конце очереди. — А эти, как рабы, терпят. Нет! У народа с рабьей душой не может быть хорошего будущего.

— Между прочим, этот народ... с рабьей, как ты говоришь душой, спас от рабства и себя, и многие народы Европы, — заметил Волков.

— Да лучше бы он не спасал! — воскликнул доктор, и серые глаза его под набрякшими веками аж потемнели от ярости. — Победители хреновы! — резко показал через стекло на очередь. — С орденами в хлевах. По двадцать-тридцать лет ждут бесплатной квартиры, не могут свободно купить машину. А купят — вот так: в паскудстве. Лучше бы немцы нас победили. Жили б мы сейчас, как они.

Волков на мгновение окаменел. Потом растерянно спросил:

— Ты... шутишь, Сергей?

Поглядел на товарища. Тот сидел, уставившись на очередь. Учитель с облегчением улыбнулся: конечно, это не всерьёз.

— Ну, и шутки у тебя, Карабас.

— А я не шучу, Володя, — строго сказал Карабанов. — Ты погляди: все побеждённые нами страны живут лучше нас. Япония... Германия... Значит, власть наша ни к чёрту, если почти через полвека разгромленные оказались богаче победителей. Я уж не говорю о Штатах, Англии, Франции... Пусть бы уж нас победили, а не мы.

— Ты вообще-то соображаешь, что говоришь?

Волков стал быстро скручивать кончик уса в острое жало. Недавно ему уже пришлось услышать в одной компании явный намёк на то, что побеждённые живут лучше победителей. Тогда по какому-то поводу собрались выпить коллеги волковской жены Натальи — журналисты. Она уговорила Владимира прийти — ей всегда было уютней, когда рядом сидел красивый, видный, компанейский муж. Журналисты оказались разные. Всех заводил и, похоже, был организатором кареглазый, стройно сложенный мужчина лет за сорок — весельчак и балагур, успевающий увидеть за столом буквально всё. Одному он показывал, что пора налить. Другого поднимал: скажи тост. Третьему напоминал не забыть про женщин — их в компании оказалось две: Наталья и журналистка с Центрального телевидения, которую пригласил заводила-организатор. “Мы у неё выступаем в “Прожекторе перестройки”, — сказала Волкову жена. — С Виктор Сергеевичем”, — показала она на командира застолья, и Владимир вспомнил, где он видел этого балагура. Виктор Савельев — обозреватель известной газеты, в жизни выглядел несколько иначе, чем на экране, но Волков знал по прежней работе жены на телевидении, что там с каждым выступающим перед эфиром работают гримёры.

В компании был и журналист из Литвы. Как он туда попал, Владимир не понял. Только обратил внимание, что прибалтийский гость несколько раз довольно резко высказался по поводу оккупации. Все решили: имеет в виду немецкую. Однако парень внятно объяснил: он говорит о советской оккупации.

— Если бы остались немцы, мы бы сейчас жили, как в ФРГ.

Кто-то в компании неодобрительно фыркнул, остальные смутились — спорить с почти что иностранцем показалось неудобным. Но тут раздался жёсткий голос Савельева.

— Вы бы лаптями щи хлебали. Если бы остались вообще, как народ. Скажи спасибо, что Союз создал вам промышленность, построил города. Поднял... из грязи в князи.

Литовский журналист встал и, возмущённый, ушёл. А Волков перегнулся через стол и пожал руку Савельеву.

Теперь он снова услышал сожаление о неудавшейся победе немцев. И от кого?

— Может, тебе напомнить, кто я и кто ты? Ну, ладно: я — русский. Глядишь, остался бы жив. Какое-то количество им надо было оставить... Работать на господ... Чистить сапоги. Я бы, может, чистил сапоги их солдатам... офицерам. Но ты же еврей! Или думаешь, что показывали в Освенциме — советская пропаганда? По-твоему, выходит, и Холокост пропаганда? Я бы, может, чистил сапоги. Но той ваксой, которую сделали из тебя!

Потрясённый, Волков замолчал. Он не знал, что говорить. Почему-то вспомнил об отце, который жил с матерью и старшей сестрой в Воронеже. Вот если б ему сказали сейчас такое, как бы он себя повёл?

Отца забрали на войну в 42-м, когда ему исполнилось 18 лет. Попал на Волховский фронт. Во время неудачной попытки советских войск прорвать блокаду Ленинграда в районе Синявинских болот был ранен. Вторую рану получил при освобождении Новгорода зимой 44-го года. Третью — самую тяжёлую — под Берлином. Но пришёл — руки-ноги целы, по мирному времени парень ещё — 21 год. Только серые от проседи виски показывали, как дались старшине Волкову орден Красной Звезды, два — Отечественной войны обеих степеней, медаль “За отвагу” и несколько других наград. Сын его в 37 лет не имел ни одного седого волоса, и выходило, что ранняя седина — не родовая наследственность.

Война долго не отпускала Волкова-старшего. Уже Владимир в школу пошёл — семь лет со смерти Сталина минуло, уже в пионеры приняли, а отец, как выпьет в компании, особенно, если приходил сосед Василий Андреич — тоже бывший фронтовик, так где-то через полчаса—минут через сорок запевает первую из любимых. Позднее Владимир узнал: песня называлась “Марш артиллеристов”:

*Артиллеристы, Сталин дал приказ.
Артиллеристы, зовёт Отчизна нас.
И сотни тысяч батарей,
За слёзы наших матерей,
За нашу Родину — “Огонь! Огонь!”*

Отец начинал, а Василий Андреич подхватывал, и тут же плечи мужчин распрямлялись, сами мужики гордо глядели друг на друга, отбивали маршевый ритм, кто кулаком по столу, кто вилкой, и через некоторое время маленькому Вовке хотелось пропечатать перед отцом и дядей Васей настоящий солдатский шаг.

Выпив ещё, и не одну-две стопки, отец вдруг замолчал, выключался из разговора; взгляд останавливался, словно его приковывало к чему-то мощному и тяжёлому, видимому только отцу и только до него доносящему волны излучения. За столом продолжался разнотонный разговор, кто-то кому-то передавал тарелки, кто-то смеялся, и в этой рассыпчатой всеобщей расслабухе вдруг раздавался рыкающий прокашель. Гости поворачивались к хозяину — Николаю Васильевичу Волкову. А он, нахмурившись, опустив голову, будто

от большого горя, начинал даже не петь, а вроде как декламировать трудно выговариваемые слова:

*Выпьём за тех, кто командывал ротами,
Кто замерзал на снегу.*

Голос его вдруг начинал хрипеть, словно человек действительно промёрз насквозь, и только беспощадная необходимость заставляет действовать.

*Кто в Ленинград пробирался болотами,
Горло ломая врагу.*

В речитатив вступал Василий Андреич и, в отличие от Волкова-старшего, уже выводил слова на мелодию:

*Выпьём за тех, кто неделями долгими
В мёрзлых лежал блиндажах,
Бился на Ладогге, дрался на Волхове,
Не отступал ни на шаг.*

Компания напрягалась, люди прекращали разговоры, и последние слова подхватывало большинство:

*Выпьём за Родину, выпьём за Сталина!
Выпьём и снова нальём.*

Из всей той суровой песни Владимир помнил лишь часть. Взрослым пытался найти, кто автор и композитор. Спрашивал отца. Тот не знал. А ещё позднее сын понял, что имя Сталина отцовы товарищи-фронтовики и сам он специально возвращали в тексты переделанных песен в знак протеста против хрущёвского развенчания культа личности. Не могли они смириться с тотальным *растоптанием* имени человека, который был для них знаменем и образцом сурового аскетизма.

Горбачёвская перестройка добавила ветеранам страданий и горечи. Сначала крадучись, потом всё открытее пошли разговоры о том, что война Советского Союза против фашистской Германии была, ну, не то, чтоб уж совсем несправедливой, но вовсе не такой благородной, как её преподносили все десятилетия после Победы. Она, мол, принесла народам Европы не свободу, а порабощение социализмом. Да и победа Советскому Союзу досталась из-за бесчеловечности Сталина и жестокости Жукова слишком дорогой ценой. Надо ли было отдавать жизни, чтоб заменить одну несвободу — фашистскую, на другую — советскую? Ветеранам стали внушать, что никакие они не герои. “Бы на штыках разнесли по миру заразу казарменного социализма, — жалили их горбачёвские “прорабы перестройки”. — За это многие в Европе вас ненавидят, и правильно делают”.

Отец не любил писать письма. Не потому, что грамоты у наладчика станков с числовым программным управлением было маловато. Считал, что если рассказывать всё в письмах, реже ездить будет сын. Да и не опишешь всего, что можно сказать. В последний приезд, как раз накануне их летней рыбалки с Карабановым, отец рассказал об инциденте возле проходной его авиационного завода. В некоторых цехах появились новые работники. Сначала пробовали устраивать собрания в цехах в поддержку Горбачёва, перестройки, демократизации. Люди не откликнулись. Потом стали сбивать митинги за проходной. Там уже задерживался кое-какой народ, но большинство проходили мимо.

Перед Днём Победы снова зазывали выходящих со смены рабочих. Николай Васильевич Волков остановился. Думал, начнут, как всегда, поздравлять ветеранов. Привычно разгордился, старым соколом поглядывал на окружающую молодёжь.

Но к его удивлению, первый же оратор стал говорить о том, что хотя воевали советские люди отчаянно и многие сложили головы, только надо ли

было делать это? Берлинская стена разрушена, Германия объединяется — ФРГ поглощает социалистическую часть. Богатые немцы дают деньги, чтоб наши войска скорее убралась оттуда. Всё, что сделал Советский Союз, оказалось ненужным. Тогда зачем, спрашивал молодой белобрысый оратор с надутыми, как у хомяка, щеками, надо было отдавать самое ценное — жизнь?

Николай Васильевич пробрался к оратору. “Ты спрашиваешь, зачем мы клали жизни?” Тот весело закивал, радуясь, что его так хорошо понял высокий, седой ветеран. “Во-первых, чтоб получили жизнь наши дети... надеюсь, хорошие люди. А во-вторых, чтоб такое говно, как ты, было кому смывать!”

Последние слова Волков-старший уже выкрикивал в момент удара. Голова белобрысого дёрнулась назад и, если б не стоящие плотно люди, он упал бы на асфальт. Откуда-то появился милиционер. Под негодующие и одобрителные крики ветерана забрали в милицейскую машину.

Никакого административно-уголовного наказания не последовало. Но отцу от этого было не легче. Все дни короткого сыновьяго отпуска — после Воронежа Владимир собирался основное время провести у тестя с тётцей в Волгограде — Николай Васильевич переживал случившееся. И не срыв возле проходной волновал отца. Он не мог успокоиться оттого, что “хомячка” подерживали криками люди.

— Чё такое происходит, Вовка? Куда этот меченый чёрт тащит стра-ну? — говорил он о Горбачёве.

“Действительно, куда?” — тяжело думал Владимир, не глядя на Карбанова, который тоже молча вёл машину. Не мог сам Карабас прийти к этим мыслям. Слишком кощунственны они были для людей даже их поколения. Тем более — для еврея. Кто-то хотел, чтоб они запали в другие головы. Русским... Украинцам... Кавказцам... А зацепили совсем не того.

Он покосился на доктора.

— У тебя отец воевал?

Тот ответил не сразу.

— Воевал.

— А на каком фронте?

— Мне это надо? Достаточно, что остался жив после мясорубки.

— Скажи, Сергей, а как твой отец отнесётся к твоим сожалениям? Мой — я знаю, как. А вот твой?

— Мне это сейчас абсолютно не интересно. Мы по-разному смотрим на некоторые вещи. Он не умеет отбрасывать ненужное.

Доктор помолчал и негромко добавил:

— Совсем не понимает меня... А я — его.

Глава восьмая

Борис Моисеевич Карбанов, действительно, всё меньше понимал сына. Началось это давно, но полный разлад наступил после поездки Сергея в Штаты. Родная сестра карабановской жены Розы Ионовны уехала туда с мужем и сыном до того, как американцы неожиданно и резко притворили свои иммиграционные ворота, оставив в них узкую щель. Сёстры изредка переписывались. Младшая — Рахиль — с вдохновением рассказывала о Нью-Йорке, вблизи которого они поселились в маленьком городке, о людях из еврейской организации, помогающей приезжим, но собственную жизнь почему-то описывала скупо.

Роза Ионовна активно не одобряла отъезд сестры. Борис Моисеевич её поддерживал, но был менее категоричен. “Если людям хочется попробовать новой жизни, пусть пробуют”. И только Сергей был полностью на стороне решительной тётки, вырвавшей семью из советской убогости.

После института младший Карбанов мог остаться в родителями в Ленинграде — отец и мать были известными людьми в медицинском мире. Но он выбрал подмосковный город военно-космической ориентации. Сначала — чтобы попробовать самостоятельности. Потом привык. Город был рядом со столицей, почти Москва. Многие ездили туда каждый день на работу; чаще,

чем живущие в центре москвичи, бывали в театрах и на концертах, однако при этом возвращались не в московскую толчею и многолюдье, а в тишину и уют умно построенного города среди леса. На некоторые балконы прискальзывали кормиться белки с соседних сосен.

При каждой встрече с родителями разговор обязательно заходил об “американцах”. Сергей всё настойчивей отстаивал “тётю Раю” — так в карабановской семье называли Рахиль Ионовну, просил мать в очередном письме обязательно передать привет ей и её мужчинам. Мужчин он добавлял для приличия. Супруг тётки — Семён Ильич — и в Союзе был “при ней”, работая юрисконсультom на какой-то мелкой фабрике, и в США, похоже, не смог оторваться от юбки активной жены. Их сына Марка Сергей не особенно помнил: разница между ними была 12 лет. Когда тётка увозила семью, Марк недавно получил паспорт.

После начала перестройки стал писать письма в США и Сергей. Иногда давал понять, что не против бы посмотреть великую страну. Приезд в Союз Марка и его рассказы об американской жизни выбили доктора из колеи. А поездка с женой в Штаты окончательно потрясла Сергея.

Тётка сразу сказала, что в Америке не принято жить у родственников. Она отвела племянника в какой-то невзрачный дом, объяснив, что это хороший отель. Но и тесный номер третьесортной гостиницы с крохотной туалетной комнатой показался ему необычайно роскошным.

Дома у тётки они были с женой только сразу после приезда и в последний день. Даже если бы их захотели здесь оставить, спать пришлось бы в “студии” — так по-американски называлась объединённая кухня-столовая. Две других небольших комнатки занимали Рахиль Ионовна с мужем и Марк со своей женщиной — незарегистрированной женой. Молодые работали на одной автозаправочной станции, но в разных сменах. Марк обслуживал машины, его подруга — водителей, продавая им кофе, “Пепси”, сигареты. Поэтому каждый день кто-то один водил родственников по интересующим их местам: магазинам, рестораничкам “Макдональдс”, нью-йоркским улицам.

Хождение по Нью-Йорку ошеломяло Сергея. Всё было не таким, как дома. Множество магазинов с обилием товаров. Заливающая улицы и здания светопад рекламы. Дома-гиганты и дома-карлики, но каждый — со своим лицом. В одном районе он увидел выстроенные в длинную шеренгу двухэтажные, узкие домики, абсолютно одинаковые, с одного строительного конвейера, к тому же поставленные вплотную друг к другу. Однако и эта вытянутая цепь дешёвого жилищного однообразия показалась Карабанову необычно привлекательной.

Однажды у молодых совпала свободная смена. Поехали в Нью-Йорк вчетвером. На какой-то улице встретилась лавочка с надписью: *Sex-shop*. Марк предложил зайти. Подруга с азартом поддержала его. Сергей догадался, что это такое. Вопросительно посмотрел на жену. Та слегка покраснела, отрицательно покачала головой. “Ну, пусть они погуляют”, — сказал Марк про подругу и невестку.

Из лавки Карабанов вышел красный, потный, с блуждающим взглядом и в первую минуту ничего не мог произнести внятного. Пройдя немного, потрясённо выговорил: “Вот это свобода... Каждому по потребности... Никого ни в чём не стесняют”.

А когда Марк свозил их с Верой на Брайтон-бич — эту нью-йоркскую колонию советских евреев-эмигрантов на берегу Атлантического океана, Сергей не мог заснуть всю ночь. Перед глазами вставали смешные, завлекательные, раскованные надписи на магазинах и товарах, звучала в ушах смесь русско-одесского говора с английскими вкраплениями. “Ви берёте эту колбасу или мне её отправить туда, откуда она вышла?” “Айм сорри, уважаемый! Спросите у своей бабушки, какую она ела селедочку в своей молодости. Вот наша такая же. Скушаете вместе с ценником!”

Нью-йоркская неделя так поразила Сергея, что он, вернувшись в Союз, долго не мог освободиться от взволновавших его впечатлений.

Тем неприятнее было увидеть прохладную реакцию родителей на его восторг. “Была уважаемый специалист... Педиатр... А там посуду моет”, —

с осуждением заметила мать о младшей сестре, когда Сергей рассказал, чем занята тётя Рая. “Что ты хочешь? — откликнулся отец. — Семён без работы. Живут, скорее всего, только на пособие”.

Через четыре месяца Борис Моисеевич тоже оказался в Нью-Йорке. Приехав на медицинский симпозиум, он решил, что неприлично быть рядом и не заглянуть к родственникам.

Сергей не сразу увидел его после возвращения. Лишь когда у младшей дочери наступили каникулы, он повёз её в Ленинград.

Дед с бабушкой обрадовались внучке. Каждый раз при виде милой девчушки их как будто подменяли. От сдержанности строгих медицинских мэтров ничего не оставалось, когда они поодиночке или вдвоём разговаривали с любимицей семьи. Однако стоило сыну начать по какому-нибудь поводу превозносить американскую жизнь, у родителей сразу менялось настроение.

Перед отъездом из Ленинграда Сергей надумал купить подарки жене и старшей дочери. Через несколько часов ходьбы по городу злой вернулся домой.

— У вас ещё хуже, чем в Москве. Довела страну власть.

— В данном случае ты прав, — мрачно согласился отец. — Довёл Горбачёв. Если бы кто с умом...

— Да как ты не поймёшь! — воскликнул Сергей, перебив отца. — Не в Горбачёве дело! В системе! В строе нашем! Социалистическом... Везде, где капитализм, там человеческая жизнь. Нам нечего предъявить миру. Как в песне известной: балет да ракеты. Правильно сказала Тэтчер: “Верхняя Вольта с ракетами”. Чего ни коснись, всё хуже, чем в цивилизованных странах. По сравнению с Европой, я уж не говорю про Америку, зарплаты — нищенские. Квартиры — сплошная убогость. Вы, два известных медика, а живёте в старой трёхкомнатной. Гордитесь: петербургская... Пушкин рядом ходил. Ну, и чёрт с ним, что ходил! Надо сейчас жить! Образование такое, что нигде в других странах с ним не устроиться. Осуждаете тётю Раю — посуду моет. А её, думаю, из-за советского диплома не берут. Не доверяют советскому образованию и нашей медицине. Да и какая у нас медицина!

Сергей с досадой махнул рукой, показывая, что дальше говорить не хочется. Искоса глянул на отца, который, нахмурившись, сидел в кресле рядом с журнальным столиком, заваленным газетами. Именно из-за отца, выписывавшего каждый год пять-шесть газет и несколько журналов, он втянулся в политическое чтение. Здесь, в своей комнате, куда редко заходили родители, начинал он слушать зарубежные радиостанции, постепенно отторгая реалии советской жизни.

— Ну, вот, мама Роза, видишь, какие мы с тобой ущербные, — произнёс отец, поднимаясь из кресла и нависая всем своим крупным телом над сидящим за столом сыном. — Впору проситься к Райке... Мыть с ней посуду на кухне.

Видимо, не зря порой говорят про талантливых людей и их потомков: природа отдыхает на детях. Борис Моисеевич Карабанов был одним из видных кардиологов. После второго ранения в 44-м году (первое получил под Сталинградом) его демобилизовали. На костылях лейтенант Карабанов пришёл в медицинский институт. Практикующим врачом защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертации. Стал профессором, начал преподавать. При этом всё активней стал заниматься исследованиями.

Но сына наука не заинтересовала совсем. Он ездил на семинары и конференции только за знаниями для практики. Считал занятия научными исследованиями никчёмным делом, от которого больших денег не получишь.

Мало похожими они были и внешне: высокий, под метр девяносто, Борис Моисеевич и заметно уступающий ему в росте Сергей. Открытые, немного навывкате карие глаза у отца и серые — в мать, — к тому же под нависающими веками у сына. Рано начавший полнеть, с дрябловатым лицом Сергей и сто килограммов тренированного тела постаревшего отца.

— Рассказали нам с тобой, мама Роза, где хорошая жизнь, а мы-то и не знали, в каком навозе живём. Ни образования. Ни медицины...

У Бориса Моисеевича это была давняя привычка: в присутствии сына называть жену “мама Роза”. Когда кто-то, услышав впервые, удивлялся,

отец объяснял: “Цветы люблю... Розы... А наша мама — настоящий цветок. Правда, Серёжа?”

— Только я поражён, что это заявляет мой сын. Образованный. К тому же медик. Неужели тебе неизвестно, что советское здравоохранение считается одним из лучших в мире? Если не самым лучшим! Это признала даже Всемирная организация здравоохранения. Не вся медицина — тут у нас и прорывы есть... значительные прорывы, и есть в чём-то отставание. Но я тебе говорю про здравоохранение как систему охраны здоровья нации. Где ты ещё найдёшь такие масштабы? Мы не так давно начинали почти с нуля. Массовые эпидемии... Ни больниц. Ни врачей в достатке. А сейчас по числу врачей на тысячу жителей — первые в мире. Поголовная вакцинация. Регулярные обследования населения. Не какой-то группы людей — богатых, избранных, а всех подряд. Рабочих. Студентов. Сельских жителей. Ты не налюбуешься на Соединённые Штаты. А известно ли тебе, уважаемый доктор, что там тридцать миллионов человек до сих пор не имеют возможности получить хоть какое-нибудь бесплатное лечение. До сих пор! И это в конце двадцатого века! Нет денег — иди помирай. А у нас кто-нибудь платит? Каждый, я подчёркиваю, абсолютно каждый, где бы он ни жил — в огромной Москве или маленьком посёлке... в деревушке какой-нибудь — имеет право на бесплатное медицинское обслуживание. И получает его — вот что важно! Везде есть женские консультации. Женщинам — отпуска по беременности и родам. Помнишь, как они называются? Декретные. Потому что советская власть их декретом ввела. Первой в мире. До сих пор это есть далеко не везде. А наши санитарные нормы? Суровые... Но зато берегут здоровье народа. Ты недоволен нашим образованием. А для миллионов людей в других странах оно — эталон. Мечта, к которой хотят стремиться. Думаешь, случайно со всего мира едут учиться в наши институты и университеты? Из Африки едут. Из Южной Америки. Из Азии едут и даже из Европы. В наши, а не в западные.

— Просто у нас дёшево, — заявил Сергей. — Этим и покупаем.

— Нет. Качественно. Я это знаю не только по своему институту... По многим другим вузам... То, что Рахиль Ионовну не берут врачом-педиатром... здесь разные причины. Берегут рабочие места для своих граждан. Не знают уровня квалификации. Но не в последнюю очередь — причины политические. Надо ведь представить Советский Союз слабообразованным государством, где нет, как ты говоришь, ни хорошего здравоохранения, ни приличного образования. Стараются дискредитировать по любому поводу. Социализм для них — это лютая опасность. Я не беру сегодняшний Советский Союз... Горбачёвский. Хотя и он ещё с большим запасом прочности. Я говорю о политической системе как таковой. С евангельских времён, а может и раньше, люди мечтали об обществе социальной справедливости. Где нет голодных и тех, кто захлёбывается от неисчислимого богатства, где все имеют примерно равные... пусть не чрезмерные, но вполне достойные для плодотворной жизни материальные возможности. Если у одного миллион в кармане, а у другого — вошь на аркане, какое тут равенство? Ты ведь должен знать — мы с тобой не раз говорили, — что только пример Советского Союза, его физическое присутствие в мире заставляло власти капиталистических стран проводить социально-экономические реформы в интересах простого народа. Люди-то смотрят на нас — тамошние люди — и говорят между собой: а почему мы не имеем таких возможностей, как в Советском Союзе? Вот ты называешь зарплаты нищенскими, хотя это не так, но забываешь, что они — только часть оплачиваемых государством благ. Тогда давай всё сложим и посчитаем. Здравоохранение — бесплатно? Да. Для человека бесплатно. Но не для государства. Врачам платить надо. Лекарства выпускать надо. Медицинскую технику делать нужно. Больницы, поликлиники — их ведь строят за государственные деньги. Сложи эти средства и раздели на каждого. Получится ба-а-льшая прибавка к зарплате. Очень хорошая. Образование — тоже бесплатно. Для того, кто учится. А тем, кто учит, платят? Школы, институты строят? Общежития для студентов строят? Да, стипендии маленькие. Надо бы больше. Но сколько платит за благоустроенную жизнь студент? Копейки!

Погляди вокруг! Спокойно погляди... Объективно. За ясли и детский сад сколько вы платили с Верой? Сущую ерунду. Путёвки в санатории и дома отдыха — большинству людей почти бесплатно. Пионерские лагеря для детей — то же самое. Коммунальные услуги. За них мы платим несравнимо меньше, чем за границу. А ведь это тоже добавки к зарплате. Вернее сказать, к доходу человека. Ты не спросил тётю Раю, сколько там платят за квартиру, воду, уборку мусора, свет?

— Ну, да! Приехал племянник узнавать, сколько тётка платит за мусор.

— Зря иронизируешь. Спросил бы — тогда бы, может, что-то понял. Там жильё и коммунальные платежи забирают половину всей зарплаты. А за остальное-то человеку тоже надо платить: за учёбу, за лечение, за транспорт. У нас в аэропортах очереди, толкотня. Безобразия, могу с тобой согласиться. Всё время возмущаюсь. В европейских странах... социалистических... порядка больше. Сам не раз видел. Значит, можно организовать?.. И политическая система не мешает. Просто наша власть в этом деле безответственна. Желаящих летать всё больше, а вокзалы отстают от потребностей. Но посмотрел бы я, как полетали бы люди, если бы государство специально не держало такую маленькую цену на билеты. Мы ведь не Англия или Швейцария, которые можно за день на машине проехать. У нас шестая часть планеты! От Владивостока до Ленинграда лететь дольше, чем какую-нибудь Данию на велосипеде переехать. Представляешь, сколько должен стоить билет в той рыночной экономике, про которую вы говорите? Один мой пациент... тоже, кстати, по его словам, демократ... Экономист большой... Просвещает меня каждый раз, когда я заставляю его крутить педали велоэргометра. Называет, какие зарплаты в других странах. Но когда спрашиваю, сколько там платят за социальные блага, хватается за сердце. Вижу: не хочет говорить... Или не знает.

— А мне не нужна забота государства обо мне! Пусть отдадут все заработанные мной деньги, а я уж сам решу, куда и сколько мне платить. Почему за меня кто-то думает? Не надо за меня думать. Не надо за меня решать. На Западе каждый за себя. Вот это и есть свобода. Мы такую тоже будем устанавливать.

— Однако пока получается хаос, — сказала молчавшая до того мать.

— Вы боитесь перемен... Это естественно. Каждый немолодой человек боится перемен, даже если они в итоге приведут к лучшему.

— Я опасуюсь перемен к худшему, — проговорил отец. Подошёл к сидящей жене, приобнял её за плечо. С грустной улыбкой посмотрел на сына.

— Ты помнишь, как мы ездили на юг? Почти каждое лето. Сначала на “Москвиче”, потом — на “Волге”. Мама Роза — рядом со мной. Ты — сзади. Захочешь спать — оглянемся, а ты спишь... Останавливались ночевать, где глазу приятно. Палатку разберём... Пока мама Роза готовит еду, мы с тобой удочки размотаем и к речке.

Потом — с девочками твоими... Нашими девочками... Заберём их у вас по пути на юг и также без всякой боязни едем по стране. А теперь что вы устроили-перестроили? Не только на ночь страшно остановиться в лесу... или возле реки. Днём убивают и грабят. Ты хочешь, чтобы это разрасталось дальше? Врачи стали мыть посуду в забегаловках... Конструкторы пошли торговать барахлом в подземных переходах... Твоя младшая дочь — наша радость — встала на углу... клиента ждать. Ты этого хочешь?

— Ты рисуешь какие-то нереальные картины. Такого не будет никогда. Мы не позволим.

— Кто это “мы”?

— Мы — демократы.

— Серёжа! Вас ведут на поводке идеи. Вы всего лишь отряды политических смертников. Вспомни, чем заканчиваются все революции: Французская... наша Октябрьская. На плечах ослеплённых масс... идея-то хорошая: свобода, равенство, братство... к власти приходят циники и головорезы. Это потом наступает человеческий порядок. Да и то не всегда. Вас используют... Бросят в топку разрушения, как вязанки дров. Мы ведь с мамой Розой не

слепые и не зашоренные идеологией люди. Видели... Знали, что нужны перемены в стране. Но посмотри, к чему идёт дело! К разгрому не только плохого, но и хорошего.

— Неизбежные издержки любой революции.

— Хватит нам революций! — резко сказал отец. — Эволюция нужна... Умная. Продуманная. Простой мужик, если собирается в незнакомую дорогу... он про неё постарается всё узнать. А этот... пошёл в воду, не зная броду. Теперь захлёбывается. Сам-то ладно, чёрт с ним. Страну топит!

— Утонет всякая дрянь. Хорошее всплывёт. Умным людям много достанется.

Сергей вспомнил слова Марка. “Когда советский режим рухнет, всё окажется бесхозным. Тут, главное, не растеряться”.

— Марк на этот случай копил деньги. По-моему, даже матери не даёт. Кстати, работает на заправке, а имеет больше, чем я — врач.

Отец пристально посмотрел на Сергея. Помолчал, словно раздумывая, говорить или нет.

— Марк ворует.

— Ты што говоришь? — с недоумением вскричал Сергей. — Ты понимаешь, што ты говоришь?

Он бросил взгляд на мать, надеясь увидеть осуждение отца. Но та согласно кивнула головой.

— С чево ты взял?

— С его слов. Он в группе наших эмигрантов, которые химичат с бензином. Дегалей не понял. Да они мне и не нужны — я ж не следователь... Главное — они нарушают закон.

— Не хотела бы я своего сына видеть за таким делом, — сухо сказала мать. — Раю жалко. Когда-нибудь придёт беда.

— Ну, вы меня напугали, — облегчённо расслабился Сергей. — Думал, чёрт-те что. Надо отвыкать от старого понимания, што хорошо и што плохо. В рыночной жизни вчерашние советские принципы не пригодятся. Отказываться от них надо. Решительно отказываться.

После того разговора он сразу уехал из Ленинграда домой. А вскоре с Волковым отправился по приглашению пациента “в дуга”. Теперь жалел о своих неосторожных высказываниях. Думал, самый близкий товарищ поймёт и согласится, а он оцетинился, как дикобраз, — даже концы усов заострились. Поэтому, немного помолчав, Карабанов с натужным миролюбием объявил:

— Хотя, может, ты и прав, старик. Рассуждать об этом не время. Мой дед, наверно, не одобрил бы. Меня занесло... забудем об этом...

Однако судя по вырвавшимся за столом словам, Сергей ничего не забыл и, похоже, в другом малоподье не скрывал прежних сожалений. “Ну, и чёрт с ним! — подумал Волков, опускаясь на табуретку. — Где-нибудь ляпнет — получит по физиономии. Не все будут миндальничать, как я. Непонятно только, почему молчит Слепцов”.

— Паша, я штой-то не помню: это ты мне рассказывал про достижения нашей оборонной промышленности, или кто другой? — с иронией спросил учитель. — Если ты, просвети сейчас и всех остальных. А то мужики подумают: у нас, в самом деле, ничего хорошего нет.

— Всё хорошее только у американцев, — вставил Нестеренко, выразительно глянув на Карабанова.

Но Слепцов, словно не слыша Владимира, сосредоточенно резал колбасу из фетисовского “заказа”.

— Ты чего молчишь, Пашка? — повысил голос учитель. — Объясни людям, что Карабас с чых-то слов вешает им лапшу на уши. Или ты с ним согласен?

— Конечно, согласен, — опять вступил электрик. — Если они хотят советскую власть на какую-то другую менять, значит, оба заодно.

— Я тебя не узнаю, Слепцов. Ты когда был честным? Когда мне рассказывал про наши оборонные дела или сейчас?

И видя, что экономист демонстративно не хочет отвечать, Волков, как чужому, протянул:

— Да-а, парень. С тобой на операцию идти рискованно.

— Кончайте галдеть! — пристукнул ладонью по столу Адольф. — В телевизоре сплошная ругань, и вы тут мне митинг развели. На охоту приехали — не на собрание!

— Правильно, Адольф, — быстро согласился Карабанов. — Надо про завтрашний день думать. Сегодня как-то у нас всухую.

Он говорил поспешней, чем всегда, одновременно разливая водку по стаканам.

— Какие завтра будут действия, Адольф?

— Война план покажет, — холодно ответил егерь. Он первый раз охотился с доктором, но уже невзлюбил его. Понял, что этот губастый толстый мужик из тех опасных, которые хотят не ремонтировать жизнь в стране, пока это ещё можно, — аккуратно, с умом, как привык делать это он сам, — а ведут дело к полному разрушению. Егерь за многое винил Горбачёва, плевался, вместе с другими мужиками, когда видел его жену Раису Максимовну, будучи уверенным, как большинство вокруг, что это она командует “пятнистой балаболкой”, а рядом настоящего подручного у него нет. Недавно Валерка принёс частушку, и Адольф за вечер — они сидели тогда в этой избе только свои, деревенские — три раза просил Валерку “показать” её:

*По России мчится тройка —
Мишка, Райка, Перестройка.
Водка — десять, мясо — семь,
Охерел мужик совсем.*

Сначала Адольф решил, что хорошим пристяжным Горбачёву будет Ельцин, но вскоре понял, что этот мужик просто хочет отнять у Горбачёва власть, а такие планы всегда приводят к войне и, если за власть дерутся двое в одной стране, — к войне гражданской.

— Давайте выпьем за Адольфа, — сказал Карабанов, почувствовав отношение егеря к себе.

— И за его ребят — Валеру... Николая, — добавил Фетисов.

“Столичная” водка “от Фетисова” шла хорошо. Зная непредсказуемость событий на охоте, Игорь Николаевич, по договорённости с компанией, брал сразу пол-ящика. Водка — это валюта для расплаты. Она же — смазка любого застольного механизма. Вчера, радуясь встрече, взволнованные предстоящей неизвестностью (каждая охота — это неповторимость ситуаций и ощущений), за долгий вечер “усидели” несколько бутылок. И не сказать, чтобы были заметно выпивши — все мужики крепкие, здоровые. Только Фетисов, как всегда, быстро глазками заблестел, да спорили, может, горячей обычного. Но тут уж не поймёшь: в спиртном ли дело или *перекосная* жизнь, которую каждый с собой привёз, ярила головы и языки.

Да и как было не злиться всем вместе, без разделения на “демократов” и “ретроградов”, когда из традиционного, всегда доступного напитка сделали сначала запретный плод, а затем — трудно достигаемую ценность.

Глава девятая

Через месяц после прихода к власти, в мае 1985 года, Горбачёв объявил о начале борьбы против пьянства и алкоголизма... Это был его первый радикальный шаг, причём в области непростой и весьма чувствительной.

Никто не отрицал очевидной истины: пьянство — зло. Для этого не надо было обращаться к какой-либо статистике. Достаточно оглянуться вокруг. Пили старики, мужики, парни. Пили бабки, тётки, девушки. Водкой обмывали радость и заливали горе. Ею расплачивались за работу и сплывались после трудового дня. Пил простой люд, интеллигенция, начальники. Пьянство разбивало семьи и преждевременно уносило жизни. От пьянства близких

страдали женщины и дети. Алкоголь был причиной многих преступлений. На пьяных парах рос бытовой, производственный и транспортный травматизм.

Другие страны тоже населяли не одни трезвенники. Когда в СССР подняли знамя борьбы с пьянством, каждый чех выпивал по 14 с лишним литров алкоголя в год, венгр — по 13, датчанин — по 12, бельгиец — по 11. В Ирландии на каждого человека старше 15 лет приходилось почти по 12 литров абсолютного алкоголя, столько же — в Германии и Швейцарии, ещё больше — в Португалии (13,4 литра) и Франции (14 литров). Не намного отставали лидеры “цивилизованного мира” — Англия и США — примерно по 9 литров на человека.

Даже там, где в борьбе с пьянством активно участвовало государство, ситуация была далека от сносной. В Финляндии приняли “сухой закон” в 1919 году. Он запрещал производство, ввоз, продажу и даже хранение любого алкоголя. Закон продержался 13 лет. И все эти годы шла ожесточённая борьба между пьющими и стерегущими. Контрабандисты на быстроходных катерах по ночам везли спирт из близкой Эстонии. Дальше шло тайное его распределение. В Финляндии у мужчин появилась мода на сапоги с высокими голенищами — в них удобно было прятать фляжки со спиртом.

В 1943 году ввели “алкогольные карточки”. Они строго ограничивали покупку спиртного на одного человека. Тех, кто попал на заметку властям как пьющий, не допускали в магазины. Карточки отменили только через тридцать лет — в 1973 году.

Впрочем, период относительной свободы продержался недолго. В 1977 году полностью запретили рекламу спиртного. Со следующего года магазины, торгующие алкоголем, перестали работать по субботам.

Властям было чего опасаться. По статистике, на каждого жителя страны приходилось в год по 7 с лишним литров алкоголя. Стремление финских мужиков найти где угодно выпивку вошло в пословицы и анекдоты. Когда Советский Союз открыл для финнов кратковременные — на день-два — туристические поездки в Ленинград и Прибалтику, мало какой мужчина возвращался к автобусу, поезду или парому трезвой походкой. “Туристы” уже в первых приграничных городах или в буфетах паррома начинали знакомиться со Страной Советов через бутылку водки. Назад многие вели друг друга под руки, а некоторых несли на руках.

Но в СССР, по разным исследованиям, пили больше. Одни называли 11 литров алкоголя в год, другие поднимали до 12–13.

Причины “пьяного половодья” не всегда укладывались в простые и ясные схемы. Немалая часть общества, расшатанная идейно, то и дело испытывающая бытовые трудности, не обременённая жёсткой трудовой дисциплиной, с помощью алкоголя пыталась амортизировать стрессы. Другая часть пила потому, что водка всегда была доступна и недорога. Поднять настроение, повеселиться без больших затрат — это устраивало многих, особенно молодёжь. Третьи пили, не зная, куда девать свободное время. Четвёртые — расслабляясь после тяжёлой физической работы. А кто-то, наоборот, от психологической и моральной усталости.

Торговля алкоголем приносила большие средства в бюджет. Однако потери от пьянства, и это признавалось многими, значительно превышали этот финансовый вклад. Поэтому пьяное половодье надо было осушать. Но как? И тут встаёт извечный вопрос: чем дальновидный политик-стратег отличается от близорукого руководителя-тактика? Тем, что умеет просчитывать не столько близкие, сколько дальние последствия своих решений. Лечить “алкогольную эпидемию” было нужно, только мерами комплексными, а не экстремистскими.

Этого не понял Горбачёв. Купаясь в эйфории от доставшейся ему высшей власти во второй державе мира, он решил, что сложную, неоднозначную проблему можно одолеть нахрапом. А будучи к тому же легко внушаемым человеком, подхватил топор, брошенный ему Егором Лигачёвым. Тот принадлежал к упёртой поросли партийных ортодоксов, полагающих, что только кнутом можно гнать людей в светлое будущее. Остановив производство сомнительных по качеству “плодово-выгодных” (плодово-ягодных) вин

и прочей “бормотухи”, рыцари трезвости обвалью сократили выпуск водки и уж совсем непонятно для чего стали вырубать виноградники. Повсеместно закрывались магазины, торговавшие алкогольными напитками. Уже через три-четыре месяца их число сократилось на 55 процентов. А кое-где на местах пошли ещё дальше: в Белгородской области из 160 магазинов осталось 15, в Астраханской из 118 — 5. Сохранившиеся работали по 3—4 часа в день.

Страна заколыхалась в тысячных очередях. На свадьбах перестали кричать “горько”. Поминки, и без того грустные, стали ещё тоскливей от компота в стаканах. Народ массово вспомнил едва теплющиеся в памяти рецепты самогонки. В домах, в квартирах простого люда и даже интеллигенции в почётном тёмном углу встали большие стеклянные бутылки с брагой. Сигналом о её готовности остроумный народ сделал медицинские резиновые перчатки. Натянутые на горловину, они сначала безжизненно висели. По мере созревания браги постепенно наполнялись газами брожения и, наконец, вставали во весь рост, напоминая помахивающую руку. Это называлось: “Привет Горбачёву!”

Резкое сокращение продажи водки в государственной торговле и массовый поворот к самогонварению породили сразу несколько экономических и социальных проблем. Бюджет страны стал недополучать десятки миллиардов рублей. А они потребовались! Произошла авария на Чернобыльской АЭС, через некоторое время землетрясение в Армении разрушило город Спитак.

Но миллиарды, пройдя мимо бюджета, активно заработали в другом направлении — в создании невиданной до того по масштабам организованной преступности. Водкой торговали таксисты у вокзалов, её выносили с чёрного хода баз и магазинов, подпольно продавали ящиками “нужным” людям. Разумеется, втридорога.

А взрыв самогонварения быстро создал в стране дефицит сахара и дрожжей. Это, в свою очередь, привело к дефициту кондитерских изделий. К очередям за горьким добавились очереди за сладким. В огромных скоплениях издёрганных людей на все лады кляли “Минерального секретаря”, рассказывали злые анекдоты, складывали ядовито-брезгливые частушки:

*По талонам горькая, по талонам сладкая.
Што же ты наделала, голова с заплаткою?*

Идеологи антиалкогольной борьбы перечисляли положительные результаты кампании: сократился травматизм, меньше стало смертей от водки, вроде бы начало здороветь общество.

Но отрицательных факторов оказалось гораздо больше. Не имея возможности купить нормальный алкоголь, люди обратили внимание на технические жидкости, содержащие спирт: у строителей добывали морилку и политуру; из парфюмерных магазинов исчезли дешёвые одеколоны, туалетная вода, лосьоны; в аптеках сметали настойки лекарственных трав и боярышника. В итоге заметно подскочило число отравлений.

Однако самым трагичным оказался бурный рост токсикомании. Эта беда коснулась многих, но прежде всего захватила молодёжь. Достаточно было нескольких “сеансов”, чтобы наступили необратимые последствия. Волковская компания видела это собственными глазами, и теперь, когда кто-нибудь задевал тему токсикомании, в памяти вставал их общий знакомый — Жора Куприянов.

Вчера, уже собираясь спать, Карабанов увидел на окне баллончик из-под “Дихлофоса”. Повертел его, понюхал сопло. “Как они этой дрянью дышат?” — спросил вроде сам себя. Но его услышали. “Не боятся ведь стать идиотами”, — откликнулся Волков. “Надо бы Горбачёву показать Жору, — сказал, накрываясь полуплубком, Нестеренко. — Каким был и каким стал”.

Об этом парне они не могли вспоминать без жгучей горечи. Впервые увидели его на базе одного завода в Ярославской области. Их компанию объединили с группой из пяти заводских охотников. День был удачный — взяли двух лосей. Вечером все собрались за одним столом — “на печёнку”. Лидером заводских охотников оказался 25-летний парень. Волковская компания

сразу обратила на него внимание. Да и нельзя было его не заметить: ростом выше немаленького Волкова, а у того — 183 сантиметра, с русыми вьющимися волосами, голубоглазый, с прямым носом и припухлыми юношескими губами, которые то и дело трогала добрая улыбка. Он, казалось, пришёл из каких-то былинных историй.

Жора Куприянов, так назвался парень ещё утром, сразу и бесповоротно понравился всем. Видно было, что так же приятен он и своим товарищам: он смешил компанию и сам заразительно смеялся, с уважительным вниманием слушал гостей, с надеждой говорил о Горбачёве. Пил он мало и при каждом удобном моменте с явным теплом рассказывал о жене и маленькой дочери. Три года назад Жора окончил институт и, видимо, был человеком способным, если его уже назначили главным технологом цеха.

В следующий раз волковская компания оказалась на той же базе в разгар горбачёвской борьбы против пьянства. Люди душились в очередях за бутылкой водки, и фетисовские пол-ящика должны были обрадовать егерей и заводских охотников. Жора приехал с другими людьми. Но теперь это был заметно изменившийся человек: русые, недавно густые волосы поредели, под глазами появились полукружья, глаза потускнели, кожа на лице стала пористой.

Когда налили первые стопки, Жора, не дожидаясь остальных, схватил свою и быстро выпил.

— Ты чево какой-то странный? — спросил Нестеренко. — Заболел, што ль?

— А мы нюхаем, — ответил за Жору его сосед, такой же, с нездоровым лицом, парень.

— Водки нет... Вместо неё “Дихлофос”.

— Как это нюхаете? — удивился Слепцов. — Это же яд! Мух им травят.

— Изнеженные вы мужики, — грубовато сказал Жора, наливая себе ещё водки. — Вы знаете, как сейчас ребята “ловят кайф”? Раньше пару рюмок выпил — идёшь на дискотеку. Настроение хорошее, всё соображаешь.

Он замолчал, глядя на бутылку и, видимо, прикидывая, удобно ли наливать себе снова.

— Теперь “кайф ловим” с мешком на голове.

— С каким мешком? — не понял Волков.

— С обыкновенным. Полиэтиленовым. Берёшь мешок... ну, обычный пакет... В него брызгаешь “Дихлофос” и — сразу на голову. На шее надо перехватить, чтоб “дурь” сразу не ушла.

— Жора! Вы же себя губите! — воскликнул поражённый Нестеренко. — Нет водки — гоните самогон, как другие. Ты посмотри, на кого ты похож!

— Для самогона нужен сахар. Хотя бы конфеты. Некоторые, кто при снабжении, берут карамельки. Говорят, хорошая брага... Но это кто при снабжении...

В третий и последний раз они видели Жору Куприянова вскоре после провала борьбы за трезвость. Почти ничего общего не было между тем жизнерадостным, красивым богатырём, которого они не так давно увидели впервые, и теперешним разрушенным, опустошённым человеком. За столом сидел сильно полысевший, сутулый мужик с ничего не выражающим взглядом пепельно-серых тусклых глаз, с дряблой кожей лица и сомкнутыми полосками губ. Он мало говорил, не сразу реагировал на вопросы. Увидев входящую компанию, вроде обрадовался, но через какое-то время снова потерял интерес ко всему.

Тот, последний Жора всякий раз, когда вспоминали о нём, вызывал в компании не только горечь, но и споры о виновниках этой человеческой трагедии. И снова товарищи расходились во мнениях. Нестеренко винил Горбачёва, доктор со Слепцовым — советскую систему, а Волков и Фетисов — самого Жору.

— Даже в скотских условиях, — сказал как-то учитель, — если у человека есть воля, он останется человеком.

— Откуда ей взяться, этой воле, — усмехнулся Карабанов, — когда народ веками не знал свободы. Пьянство — национальная черта русских. Пили, пьют и будут пить. А советская власть, вдобавок, затянула и других в эту воронку.

— Ты поосторожней, Карабас, с национальными особенностями, — осадил доктора Нестеренко. — Если мы начнём копать в твоём еврейском народе, то найдём, будь здоров, сколько “пятен на солнце”. Лучше не надо брать лопаты. Тем более, неизвестно, с чего ты делаешь такие выводы. К твоему сведению, по потреблению алкоголя на душу населения мы в течение трёх последних столетий были в лидерах трезвости. К началу двадцатого века в Европе меньше России пила только Норвегия. Остальные — больше. Перед первой мировой войной у нас вышивали меньше пяти литров на человека. И всё-таки царь объявил “сухой закон”. Между прочим, он действовал и после революции, отменили его только в 1925 году. В этот момент в Советском Союзе потребляли примерно четыре стакана алкогольных напитков на человека в год. А в Германии — около трёх литров. На стаканы — это, сам считай, примерно штук пятнадцать. В Англии — больше шести литров. В Италии — под четырнадцать. Во Франции — восемнадцать литров.

— Где-й-то ты таких цифр накопал? — удивился Волков. — Прямо лектор из общества трезвости.

— Ты угадал. Загнали меня в это общество. Сперва было интересно, но быстро понял, что Горбачёв не учил как следует историю. Иначе подумал бы о результатах. Введённый царём “сухой закон” поначалу отрезвил страну. Представляете, потребление алкоголя сократилось до одного стакана в год! Но потом — две революции, гражданская война. Мужики — и красные, и белые — бросились на самогон, на всякую техническую мутату, где есть спирт. И те же последствия, што сейчас. Только в меньших масштабах. А вот советская власть, Сергей, умело подхватила начатое царём. После отмены “сухого закона” раскрутили бешеную разъяснительную работу, насоздавали чёрт-те сколько “обществ трезвости”. Каждый пьющий стал считаться вредителем производства и врагом социализма. Знаю, знаю тебя. Сейчас свернёшь к своим любимым “врагам народа”. Не было этого. Зато пьянство круто пошло на убыль. В течение тридцати лет пили меньше, чем до царского “сухого закона”. Только к семидесятому году потребление алкоголя выросло примерно до шести с половиной литров на человека. Вот что значит работать головой, а не пятном на голове.

Глава десятая

Эту покинутую избу Адольф, по договорённости с охотником из сельсовета, определил под свою базу. Привёз три железных кровати, с десятком старых матрацев, отжившие в хозяйстве табуретки и стулья. Кто-то из приезжающих сюда начальников переслал егерю газовую плиту и несколько баллонов. Сейчас матрацы горой лежали в дальнем правом углу запустелой горницы. Фетисов разложил штук пять один к одному, снял валенки и лёг, как маленький островок на рябом озере. Спать он не хотел и лёг, чтобы, по давней своей привычке, быть вроде как с товарищами и в то же время не привлекать к себе внимания. В такие минуты ему свободно и *ненапряжно* думалось, он мысленно с кем-то из них соглашался, а кому-то — опять же мысленно — возражал. И в мыслях у него всё получалось складно. Его никто не перебивал. Ему не надо было торопиться, а поэтому удавалось не спеша убедить товарищей.

Игорь Николаевич как человек мягкий и стеснительный особенно переживал из-за нарастающего разлада в их компании. Он понимал, что каждый из них выражал какое-то одно, важное именно для него представление о нынешней обстановке в стране, о том, как надо поступать, чтобы в итоге было хорошо.

Но индивидуальные позиции его товарищей были в то же время и отражениями самых распространённых в стране взглядов, политических устремлений. По сути дела, каждый представлял определённую часть бурлящего, спорящего, растерянного общества. В Андрее Нестеренко сконцентрировались интересы тех, кто ни при каких обстоятельствах не допускал даже мысли о разрушении советского строя, ликвидации социалистической системы.

Он говорил товарищам, и Фетисов был согласен с ним, что социализм как новое историческое явление далеко не исчерпал себя — он ещё очень молод, способен к различным трансформациям. Да, пришли к застою, затормозили развитие, но это всего лишь болезнь огромного, достаточно мощного организма, и нужен хороший доктор для его лечения. Таким доктором Нестеренко считал Андропова, но тут товаровед мысленно с ним не соглашался. Какой доктор, если лечение начинается с ремня? Короткий период андроповского наведения порядка запомнился Фетисову опасным визитом, когда на базу внезапно приехала большая бригада проверяющих. Неизвестно, чем бы дело кончилось, если б на третий день начала проверки не умер Андропов и бригаду сразу не отозвали.

Но с тем, что Горбачёв, по словам Андрея, оказался не опытным врачом, а хуторским коновалом, Игорь Николаевич был согласен. Это особенно стало видно сейчас — к январю 91-го года.

Позиция Карабанова тоже была ясна и отражала взгляды немалого числа людей: социализм и советская власть себя изжили, нужно возвращаться, как говорил доктор, “в лоно мировой цивилизации”. Если отбросить словесные обёртки — к капитализму.

В своих раздумьях Игорь Николаевич не соглашался с этим. Капитализм был для него чем-то таким далёким и давно оставшимся позади, что он не мог даже представить его в обыкновенной жизни. Кроме того, Фетисов иногда приходил к мысли, что именно таких, как доктор, твёрдо убеждённых, агрессивно настроенных против социалистической системы, а значит, против государства в целом, не так уж и много. Большинство — просто попутчики, каждый из которых отрицает не СССР и существующий в нём политический строй, а отдельные его раздражающие элементы. Но недовольные каждый своей частью, они сливались в растущую массу недовольства и, сами того не понимая, усиливали отряд ненавидящих целое.

Таким вот “попутчиком” казался Фетисову Павел Слепцов. Уж ему-то, думал Игорь Николаевич, надо быть ближе к инженеру-электрику, чем к доктору, поскольку всё, что он имел — в самом широком смысле: судьбы отца и матери, собственную материально благополучную жизнь — всё это сотворило социалистическое мироустройство, и вряд ли Павел ясно себе представлял, что будет вместо этого. Да и такой радикал, как Сергей Карабанов, тоже, по наблюдениям Фетисова, смутно понимал, к чему в реальности приведёт демонтаж несущих конструкций государства. Может, и лучше будет та, новая жизнь, думал товаровед, но где гарантии? Сломать-то ломают, а кто будет строить? Ельцин? Когда Фетисов думал о нём, его мучили тяжёлые сомнения. Человек, запросто сменивший одну веру на другую, так же легко переменит её на третью и четвёртую. Остальные, кого слушал Игорь Николаевич, тоже не вызывали доверия. Ему почему-то казалось, что они только умеют говорить лучше партократов, но для серьёзного дела не приспособлены.

Волков был наиболее понятен Фетисову. Прежде всего потому, что сам товаровед, как ему казалось, был таким же. Оба хотели обновления и перемен. Однако не таких, которые сейчас разрывали страну. То, что творилось, уже нельзя было назвать нормальной жизнью. Но ведь всё это сделал Горбачёв, и тут Фетисов снова соглашался с Нестеренко. Из той прежней, догорбачёвской жизни надо было убрать уродливые наросты, капитально отремонтировать экономику, установить ответственный порядок. Как повторял его сын Юрий: “Очистить авгиевы конюшни”. Очистить, но не ломать!

Сын Фетисова первым ушёл от семейной традиции — стал юристом. Мужчины в четырёх поколениях занимались торговлей. Прадед, получивший вместе с отцом вольную при Александре Втором, к старости стал небогатым купцом. Дед тоже был купцом, но уже с большим капиталом. Выполнял императорские заказы — снабжал армию перед первой мировой и во время неё.

После Октябрьского переворота был арестован, через некоторое время его отпустили. Но после того как Фаина Каплан ранила Ленина, а начальника Петроградской ЧК Моисея Урицкого застрелил член партии эсеров Леонид Каннегисер, в числе многих заложников, ни за что, просто в знак отмщения, расстреляли и фетисовского деда. Отцу Игоря Николаевича было десять лет.

Он многое помнил из прежней жизни, но только перед смертью, как раз в год “воцарения” Горбачёва, рассказал сыну и дочери историю их деда.

Сам отец закончил кооперативное училище. В Отечественный был на фронте, часто на передовой, доставляя еду в окопы. После войны долго работал в потребкооперации. К торговле вызвал интерес и у сына.

Долгое время свою родословную Игорь Николаевич особо не афишировал. Теперь можно было говорить в открытую. Даже гордиться репрессированным дедом. На этом стали зарабатывать капитал наиболее ушлые и скандальные родственники жертв. Правда, жертв только “сталинского террора”. Дальше вглубь времени разоблачители не шли и, как понимал Фетисов, вполне сознательно. Иначе им пришлось бы говорить, что многие жертвы Сталина сами были кровавыми палачами, уничтожившими в период “красного террора” и позднее миллионы людей, и не Божье ли возмездие настигло их спустя двадцать лет? Теперь их родственники мстили советской власти и Сталину, хотя он, по мысли Фетисова, был всего лишь орудием Всевышнего. Мстили с той же кипящей ненавистью, с какой их предки мстили невинным людям только за то, что те были из “другого класса”. Наверно, всеми революциями, думал Игорь Николаевич, движет, прежде всего, месть — месть за повешенного брата, за публичное унижение властителем, за отобранную власть, за то, что у одних есть то, чего нет у других. Неужели люди никогда не остановятся? И почему даже близкие становятся врагами? А ведь могут понимать друг друга... могут.

Последняя мысль появилась, когда Фетисов с удивлением прислушался к разговору Нестеренко с Карабанным. Спокойно, словно не они весь вечер нападали друг на друга, электрик и доктор в этот момент обсуждали лаек Адольфа и Валерки. У егеря был крупный, нелюдимый Пират, у Валерки — весёлая, игривая Тайга.

— А ты не смотри, што она ластицца, — говорил Валерка доктору. — Пират, он, конечно, зверь. Но моя по кабану притравлена. Чуть чё — хватъ за морду. Вцепицца подсвинку в “пятак” и с куском отлетает. Кажный раз боюсь, не кинулась ба на секача. Тот из неё вмиг двух сделает. Клыками — раз, и на матрас.

Городские, одёрнутые егерем, которому не понравился их “митинг”, несколько присмирели и как бы распались на кучки. Доктор с электриком заинтересованно слушали Валерку, а тот, видя их внимание, нёс про Тайгу всякую всячину. Павел Слепцов показывал красноглазому Николаю патроны с пулями “турбинка”. Уверял: такие не дают в лесу рикошета. Волков, углублённый в свои мысли, рассеянно пытался попасть кончиком охотничьего ножа в хлебную крошку на столе.

Ему нравились зимние охоты. Темнеет рано, светает поздно. Можно выспаться, если даже засидишься за полночь. Не то что в конце лета — на утиных охотах или весной — на пролёте гуся. И они подолгу сидели зимой за столом. Уже не пили водку. Пили чай. Говорили о женщинах, о работе, о политике. Слушали байки егерей, сами вспоминали бывальщины. Им было так хорошо друг с другом, как только бывает между мужчинами, чувствующими себя братьями. Каждый любил остальных порой сильнее, чем себя, и зачастую удивлялся, как это он когда-то не знал этих дорогих ему людей, а уж тем более не представлял, как он может оказаться без них в будущем. Однажды, в очередной прилив такой нежности, Волков поднялся за столом. Они были одни, без женщин. Сидели расслабленные, просветлённые. Учитель задержался взглядом на каждом. Положив доктору руку на плечо, улыбался Нестеренко, ожидая, что скажет зачем-то поднявшийся их предводитель. Благодушно шурился Карабанов. С другой стороны от электрика к нему клонился маленький Фетисов. Паша Слепцов морщил в довольстве сухое лицо и заранее поднимал стакан, готовый выпить за всё, что произнесёт Волков.

— Ребята, — проговорил взволнованный учитель. — Вы видите, как нам хорошо вместе. Говорят: жизнь иногда разводит даже самых близких людей. Но я не знаю, што должно произойти, штобы развести нас. Мы разные, как цветы на клумбе, и мы едины, как та самая клумба. Я думаю, так будет всегда. И мы всегда будем друг с другом.

Слепцов согласно закивал. Что-то невнятное, но, судя по заблестевшим глазам, доброе пробормотал Фетисов. А Нестеренко, подтянув к себе доктора, громыхнул:

— Мы будем не только стоять рядом друг с другом. Мы будем стариться плечом к плечу.

Но в последнее время прежняя благодать радовала всё реже. От того, что споры то и дело подходили к обрыву конфликта, хотелось быстрее встать и уйти спать. Даже если время было самое развечернее.

После летних сожалений Карабанова о несбывшейся немецкой победе у Волкова как будто что-то треснуло в его отношении к доктору. Он ещё пытался не дать трещине сильно разрастись. Натужно преувеличивал то, в чём был с доктором согласен, и также с усилием преуменьшал их расхождения. Но это давалось всё труднее. Волков понимал: прошлое уходит и, скорее всего, безвозвратно. Они с Сергеем напоминали пассажиров двух поездов, трогających со станции в противоположных направлениях. Поезда ещё не набрали скорость, колёса только-только сделали первые обороты, и люди почти напротив друг друга. Но разъезд убыстряется, и уже надо поворачивать головы, чтобы видеть уплывающее лицо.

Владимир был благодарен Карабанову не только за его прошлое бескорыстное товарищество, но и за спасение дочери. Сейчас ей исполнилось тринадцать лет. Красивая, высокая — в отца — девочка-подросток забыла те часы, когда её жизнь висела на волоске. Но Волков помнил всё отчетливо, хотя прошло три года. Никто из врачей, куда дочь ни привозили, не мог определить, почему у неё высокая температура и боли не в том месте живота, где обычно бывает аппендицит. В отчаянии Волков позвонил Сергею домой. Доктора не было — он уехал к родственникам в Ярославль. Жена Карабанова дала их телефон. С какой скоростью мчался Сергей, учитель мог только догадываться. Уже через три часа дочь готовили к операции. У неё оказался атипичный аппендицит. Это Карабанов понял каким-то чутьём, поскольку никакие анализы и экспресс-обследования причины высокой температуры и повышенного содержания лейкоцитов в крови не объясняли. Девочку сразу отвезли в операционную и, как стало ясно, вовремя. Ещё немного — и началось бы бурное заражение организма.

Волков был очень признателен доктору за дочь. Однако прогрессирующая ненависть Карабанова ко всему, что он называл “совковой действительностью”, а учитель, морщась, поправлял: “Наша жизнь”, в которой для него оставалось немало дорогого, размывала чувство благодарности, вызывала тревогу и отторжение недавно близкого человека.

Учитель тоже хотел перемен и начал созревать к ним едва ли не раньше других. Помогали тому не только собственные наблюдения, но и работа жены-журналистки. Они жили весьма ладно, ещё не утратили желания рассказывать друг другу о своих работах, а главное — с интересом слушать про давно ставших заочно знакомыми учителей, журналистов, хозяйственников и партийных работников.

К делу жены Владимир относился с некоторой внутренней настороженностью, хотя внешне этого старался не показывать. Только подвыпив, иногда с усмешкой говорил: “Как я на тебе, Ташка, женился — ума не приложу! Вы ведь какой, журналисты, народ? На работе врётё, приукрашивая жизнь. Привыкаете к этому... Становится нормой хоть чуть-чуть, но соврать... Выходит, дома за вами надо во все глаза смотреть. Того и гляди обманете”.

Заметив, что она вот-вот вспылит, миролюбиво отступал: “Ладно, ладно... Ты у меня не такая”. Однако заканчивая критический укол, непременно добавлял: “Но согласись: легче всего изменяют женщины-корреспондентки”.

Жена, конечно, не соглашалась: “А ещё учитель! Психолог! Женщины вообще трудней идут на это. Мужчине — что? Встал, отряхнулся, улыбнулся и пошёл. Мужчина изменяет телом. Женщина — душой”.

Волков не спорил с этим. За примерами, считал, далеко ходить не надо. Мария каждый раз старалась дольше удержать его, словно боялась потерять что-то такое, без чего ей будет плохо. Он же только чувствовал благодар-

ность, неловкость и желание скорее уехать. Она по-своему ценила мужа, фанатично любила и восторгалась сыном, но если бы Владимир позвал её прийти к нему насовсем, создать их общий дом, каждодневную, неразлучаемую семью, Мария взяла бы только сына и обрубила всё остальное, своё и волковское, что соединяло их с прежними жизнями.

Однако Владимир даже в мыслях такого не представлял. Он возвращался от Марии домой — встречались они обычно у её подруги днём, для этого Мария планировала так называемую “местную командировку” по Москве, а у Волкова оказывалось свободное от уроков время, и первое, что он делал, вернувшись из Москвы, звонил в редакцию жене. Она не всегда была на месте. Но выполнив этот ритуал, Владимир как бы снимал с себя что-то давящее, вызывающее в душе стеснение и неуют.

Вечером же, как кот, ластился к озабоченной, усталой Наталье, не смущаясь дочери, чувственно гладил жену то выше колен, то по округлому, без всяких надетостей под халатом, заду и, двигая усами, нетерпеливо подмаргивал в сторону спальни. Дочь в таких случаях спешно отсылали спать. Телевизор — этот информационный наркотик — досрочно выключали, и вскоре обоим становилось абсолютно безразлично, что там могут говорить, что обещать и чем пугать страну “демократы” с “партократами”.

Ещё до конца брежневского правления Волков, благодаря жене, стал глубже узнавать тусклую оборотную сторону однопартийной системы и не самые лучшие качества выращенных ею кадров. Наталья тогда работала редактором на телевидении. Готовила и вела общественно-политические передачи. Их записывали заранее. Когда передача была готова, рабочая группа вместе с участниками садилась её просматривать.

Иногда к этому моменту на студию приезжал Владимир, чтобы отвезти жену домой. И его нередко удивляли партийные функционеры своей оторванностью от жизни. Уже бушевал в Польше независимый профсоюз “Солидарность”. Через “голоса” зарубежных радиостанций и даже через “прижатую” советскую печать до людей доходил накал тамошней борьбы, ожесточённая полемика на митингах и в телевизионных выступлениях, а здесь секретари райкомов и горкома читали по бумаге какие-то тусклые тексты, в которых не было ни живой мысли, ни отклика на волнующие общество проблемы. Даже когда Наталья вопросами подводила “собеседника” к какой-нибудь тревожной теме — в стране нарастал дефицит, всё острее чувствовались расхлябанность и моральный разлад — партийные функционеры отделялись банальными штампами и ничего не объясняющими призывами.

Однажды после просмотра записанной передачи Владимир негромко сказал жене:

— Пойдём скорей отсюда. Тут молодые вожди засохли, как старые листья. Ты с ними разучишься говорить.

Он имел в виду молодого секретаря райкома партии, который, с удовольствием дослушав свою тягомотину в передаче, игриво прощался в сторонке с женщинами. Однако слова Волкова он услышал и понял, о ком речь.

— Вот такие, как вы, всем недовольные, только мешают единству советского общества. Брюзжите... Сете, где удастся, семена сомнений. Партия знает, што надо делать и как разговаривать с народом.

Волков слегка смутился — он говорил не для всех. Но увёртываться не стал:

— Тогда с ним и надо разговаривать! А вы по бумажке читаете! Учитесь говорить своими словами. Умейте убеждать. Глядишь, пригодится...

— Вы, наверно, из диссидентов, молодой человек? Народ нас всегда понимает. А на таких, как вы, мы оглядываться не намерены.

От слов “молодой человек” Волков вспыхнул. Секретарь, судя по виду, был его ровесником, а может, и моложе.

— Ваше счастье, что пока вам не надо спорить, — сдерживая желание наругать, сказал он. — Не надо учиться нормально разговаривать. Но придёт другое время... не дай Бог, как в Польше... и тогда, молодой человек (Волков с издёвкой улыбнулся, выделив интонацией слова “молодой человек”), вы увидите, захотят ли вас слушать люди.

Он пошёл к выходу, зная, что жена идёт за ним. Уже возле дверей услышал: “Кто этот усатый наглец?” — “Муж нашей редакторши Натальи Волковой. Учитель...” — “А-а... Тогда понятно, от кого в школах бездельность. Ему жену нельзя доверять, не только детей!”

“Это тебе ничего нельзя доверять, — сердито думал Владимир, заводя машину. — Конфетку в дерьмо превратите!..”

Жена поняла его настроение, молча погладила по руке.

“Нет, какие козлы! — продолжал мысленно возмущаться Волков. — Придумали лозунг: “Спасибо партии и правительству за заботу о советском народе”. Да это вы должны народ благодарить! Ему спасибо, что он вас держит! “Партия знает, что делать...” Один дурак ляпнет — остальные кивают. Хрущёв обещал коммунизм! Говорил: “В восьмидесятом году советский народ будет жить при коммунизме!” Глупость городил, а никто ему этого сказать не мог...”

Когда набирающая обороты горбачёвская демократизация толкнула к трибунам сотни новых людей, многие из которых, ещё вчера неизвестные, учились говорить на ходу, Волков слушал их корявые выражения и злорадно вспоминал того секретаря райкома, других таких же надменных партфункционеров. Теперь, неумело огрызающиеся, засвистываемые, они не сходили, а сползали с трибун. Их можно было пожалеть: растерянных, потрясённых такой реакцией народа, который совсем недавно слушал эти же самые речи с каменным молчанием, а сейчас непочтительно кричал и гнал их прочь. Но Волкову, человеку по натуре не злопамятному, этих людей было не жалко. “Ну что, козлы, отсиделись в заповедниках? Ладно, если свою власть потеряете... Как бы не понесла лавина всех подряд...”

Владимир ещё продолжал радоваться нарастающим переменам в общественной жизни, удивлялся новым открытиям в недавней истории государства, но чем дальше, тем сильнее тревожили его развивающиеся события. Первый Съезд народных депутатов СССР, открывшийся в мае 89-го года, благодаря прямым трансляциям по телевидению поразил многих необычным “эффектом присутствия”. Миллионы людей как бы сами вошли в зал заседаний, сами соглашались и негодовали, слушая пугающе резкие, до холодка по спине, выступления депутатов, привыкали к новым фамилиям и лицам, понемногу расстёгивая с рождения надетые мундиры опаски и осторожности.

Но при этом учитель пока ещё смутно, однако чем дальше, тем явственнее начинал догадываться, что появление всё новых и новых экономических и бытовых проблем, которые с каждым днём отвязней критиковали демократы, вовсе не случайно и, тем более, вряд ли закономерно. Если отсутствие в магазинах мяса, колбасы, масла, сахара можно было объяснять неурожаем или неповоротливостью торговли, то чем было оправдать пропажу мыла, сигарет, алюминиевой посуды, телевизоров и многих других, ещё недавно доступных товаров? Теперь приобрести самое необходимое, в том числе простое мыло и водку, можно было из-под прилавка или по талонам, которые народ, вспомнив давнее слово, называл “карточками”. Но такого, как говорила Владимиру мать, не было даже во время Великой Отечественной войны. Издёрганная и всё более злеющая страна не знала, что случилось с советской экономикой, куда всё проваливается, где причины нарастающего хаоса.

И только немногие, складывая одно к другому, начинали понимать, что причинами всего этого стали скороспелые, непродуманные, авантюрные решения Горбачёва по перестройке народного хозяйства Советского Союза. Причём решения, следующие одно за другим, порой с разницей в несколько месяцев.

Сначала горбачёвская команда несколькими решениями (первое — в августе 1986 года) отменила государственную монополию на внешнюю торговлю. Право самостоятельно продавать продукцию за рубеж получили десятки министерств и сотни крупных предприятий. А вскоре такое право досталось почему-то и отдельным лицам.

Внешне это выглядело эффектно: Горбачёв снимает “железный занавес” на таком важном, десятилетиями забронированном направлении, тем самым

показывая свою приверженность демократии. В действительности же началось не освобождение экономики от “плановых оков”, а разрушение давно выстроенного баланса.

Регулируемые государством внутренние цены, рассчитанные на невысокие зарплаты населения, были намного, а порой — в несколько раз ниже стоимости этих же товаров за границей. Поэтому, как только появилась возможность продавать за рубеж продукцию, по сути, без контроля государства, товарный поток с внутреннего рынка повернул на внешний. За границу пошло продовольствие, золото, пушнина, лесоматериалы, удобрения, химтовары и много другой продукции, предназначенной для внутреннего рынка.

В 1987 году был принят Закон о совместных предприятиях. Он создавал льготные условия для экспорта советского сырья, что в сочетании с отменой госмонополии на торговлю усилило отток товаров.

Следом появился Закон о государственном предприятии. Поскольку он предусматривал приоритетное производство продукции, идущей на экспорт, оголение внутреннего рынка получило дополнительный импульс.

Через несколько месяцев приняли Закон о кооперации. Разрушение внутреннего рынка и государственной ответственности пошло шагами Гулливера по стране лилипутов. Хороший, в идеале, замысел, но авантюрно вброшенный в неподготовленную и всё менее управляемую среду породил дополнительные условия не для наполнения рынка товарами, а для роста преступности и теневого бизнеса. Руководители предприятий создавали кооперативы при своих заводах и фабриках, во главе их ставили родственников или других близких людей. Теперь уже не основному производству, а, в первую очередь, кооперативам шло получаемое по фондам дешёвое сырьё, на кооператив работали государственные станки и оборудование, использовались дешёвые, благодаря низким государственным ценам, энергоресурсы, а готовая продукция через кооператив или через совместное предприятие, где во главе тоже стояли свои люди, уходила за рубеж. Выгода была фантастической. Многие товары давали на один рубль затрат 50 долларов выручки. Некоторые изделия превращали в лом, чтоб удобней было вывозить (например, алюминиевую посуду), и продавали как дефицитный за рубежом материал.

Советская продукция, зачастую плохо и неброско упакованная, имела, между тем, значительные преимущества на рынке благодаря низкой цене, жёстким государственным стандартам (особенно в пищевой промышленности и аналогичных отраслях) и при этом неплохому качеству. Страна искала импортное, а за граница высасывала советское. В одном только 1990 году за рубеж была вывезена третья часть произведённых в стране потребительских товаров!

Неуправляемые процессы привели к тому, что государственные органы даже не всегда знали, что и куда вывозится. Зимой 1991 года правительство Турции обратилось к премьер-министру СССР Павлову с просьбой организовать на всей территории Турции сеть сервисных станций по обслуживанию советских цветных телевизоров. Их здесь оказалось более миллиона штук. Однако по официальным данным в Турцию из Советского Союза не было продано ни одного (!) телевизора.

Так разрастался дефицит на внутреннем рынке. В начале горбачёвской перестройки в свободной продаже было 1200 наименований товаров. К августу 1988 года их осталось 200. А через четыре месяца — в декабре 1988-го — уже только 100. Куда всё девалось, миллионы советских граждан не понимали. Заводы и фабрики вроде работали, на селе пахали и сеяли, а товарные возможности усыхали, как лужа под жарким солнцем.

И лишь те, кто имел возможность анализировать монбланы статистики, видели, что дефицит создаётся не только благодаря неразумным законам и решениям, но и откровенно противозаконными действиями. Те две трети советской продукции, которые оставались на территории страны после вывоза одной трети за рубеж, далеко не полностью шли в розничную торговлю. Значительное количество товаров сознательно припрятывалось на базах и складах. В 90-м году, как выявила одна из депутатских проверок, их было укрыто на 50 миллиардов рублей.

Припрятанная продукция портилась. Её списывали. Вместе с ней (под видом испорченной) на свалки выбрасывалась уйма добра: колбаса, шоколад, масляная краска, дешёвая обувь, коробка с чаем, печенье, тонны других продуктов. В том самом 90-м году вроде бы “сгнило” свыше 1 миллиона тонн мяса, “порвано” 40 миллионов штук шкур скота (а это — обувь, одежда, галантерея), “пропало” 50 процентов (!) собранных овощей и фруктов.

Разумеется, такие изъятия ощутимо усиливали дефицит товаров и особенно продуктов питания. Но раздражение народа, хотя и нарастающее с каждым днём, пока ещё не достигло крайней точки. Требовался детонатор взрыва. И он был найден.

Глава одиннадцатая

Табак и алкоголь — своего рода наркотики. Более слабые по сравнению с настоящими героинами-марихуанами, но всё-таки способные крепко держать человека “на привязи”. Шальная кампания по борьбе с пьянством, даже после её негласной фактической отмены, разрушила привычное — по потребности — обеспечение населения спиртным. Водка ушла в разряд дефицита, что вызвало небывалый рост теневого бизнеса и усилило масштабы организованной преступности.

Однако курева это не коснулось. Да и трудно было представить, что кому-то когда-нибудь удастся сбить с ритма такую могучую отрасль, как табачная промышленность. Советский Союз выпускал в год 360 миллиардов штук сигарет и папирос, занимая третье место в мире. Впереди были только США и Китай. Но Штаты “закрывали” потребности половины земного шара, продавая табачные изделия в десятки стран мира, Китай с миллиардом народа сам был крупнейшим “курильщиком” планеты, а советская табачная индустрия обеспечивала, в основном, страну с населением в 290 миллионов человек.

Табачных фабрик в СССР было много. Давая значительные средства в бюджеты, они работали в большинстве союзных республик. В некоторых — не по одной. Но основная масса — в России. Сигарет и папирос (кстати, последние — чисто российское изобретение) выпускалось несколько десятков наименований. По ним можно было узнать историю и географию страны (“Октябрь”, “Памир”, “Казбек”, “Север”), крупные города (“Москва”, “Ленинград”, “Ростов”, “Минск”, “Київ”, “Львів”), народные праздники (“Новогодние”, “1 Мая”), получить массу другой информации — от достижений и побед до профессиональных привязанностей.

Различные категории курильщиков могли выбрать сигареты или папиросы, соответствующие своим увлечениям. Одним — “Турист”, другим — “Охота”, третьим — “Полёт”. Для творческих личностей — “Мелодия” и “Лири”, для водников — “Речфлот” и “Ракета” с изображением корабля на воздушной подушке, для строителей магистралей и путешественников — “Дорожные”.

А кроме того, было немало других названий, имеющих “общенациональную” ориентацию: “Беломорканал”, “Союзные”, “Астра”, “Прима”, “Космос”, “Друг”, “Лайка”, “Орбита”...

Курево было разнообразным по сортам табака. От самых лучших табаков — сухумского, тбилисского, кишинёвского — до грубоватого моршанского. Имелся разброс и в ценах. Одни из наиболее дорогих папирос — “Герцеговина Флор” — стоили 80 копеек, что оправдывалось не только их качеством. Имела значение и легенда: из папирос этой марки Иосиф Сталин собственноручно доставал табак и набивал им трубку.

Но если “Прима” в Калининграде и Таллине стоила 16 копеек, то не много дороже, несмотря на дальность доставки, она была и во Владивостоке.

В охотничьей компании курили трое: Волков, доктор и электрик. Владимир с детства не только видел отца курящим, но и время от времени слышал запомнившийся тому из дальних послевоенных лет текст какого-то плаката: “На сигареты я не сетую, сам курю и вам советую”. Однако, несмо-

тря на призыв и достаточный выбор, отец курил папирсы “Беломорканал”.

Когда сын втянулся, табачное предложение стало ещё обильнее. Начались придрочивые сравнения. Чей “Космос” лучше: московский, ленинградский, ростовский? Или какую “Яву” стоит брать, а какая даром не нужна. Эти популярные сигареты ценой 40 копеек выпускались в Москве. Одна — на фабрике “Ява”, другая — на фабрике “Дукат”. Каждая “Ява” имела своих приверженцев. Споры переходили в немедленный обмен сигаретами, после чего следовала брезгливая или восторженная мимика, пренебрежительное сплёвывание или сладостная затяжка. В итоге каждый оставался при своём мнении.

Потом к советскому куреву добавилось заграничное. Эшелоны шли из разных соцстран, но в основном — из Болгарии. Избалованный курящий народ стал ещё больше привередничать. Сравнивая свои и чужие сигареты, давал им ироничные, а иногда уничижительные названия. Вьетнамские сигареты за отвратительный вкус стали именоваться “Портянки Хо Ши Мина”. Дешёвый советский “Памир” с изображением одинокого человека с палкой и котомкой — “Нищий в горах”. Болгарскую стюардессу обозвали “Стервой”, сигареты “Шипка” с обелиском на пачке — “Братской могилой”. Произнося “Опал”, остряки добавляли: “Покурил и хрен опал”.

И никому в голову не могло прийти, что табачное изобилие можно обрушить в один момент.

Однако в августе 1990 года это случилось. В течение нескольких дней во многих городах Советского Союза из продажи полностью исчезло какое-либо курево. Поначалу люди растерялись, решив, что это только у них напортачила торговля. Но когда табачные изделия не появились ни на второй, ни на третий день, люди кинулись скупать всё, что могло напоминать курево. В один миг исчезла с прилавков махорка, которой до этого пересыпали одежду от моли. Скверные корейские сигареты, уценённые перед тем из-за отсутствия спроса, у спекулянтов взлетели в цене и моментально были распроданы. На улицах невозможно было увидеть окурков — “бычок”. Ловкие люди собирали окурки и продавали их пол-литровыми банками.

Потом грянули табачные бунты. Разъярённые толпы в Ленинграде перекрыли Невский проспект. В Москве начали переворачивать и жечь киоски.

Погромные настроения усиливало телевидение. Операторы с камерами шли среди толпы. Крупным планом показывали злые лица. На всю страну разносили гневные слова возбуждённых людей. В одном репортаже Карабанов вдруг увидел Горелика. Он шёл впереди толпы. “Мы не позволим так издеваться над нами! — кричал в камеру “комиссар демократии”. — Надо бороться, товарищи! Сегодня партюкраты лишили нас курева, завтра отнимут всё остальное”.

“Он же не курит!” — вспомнил изумлённый Карабанов. Однажды, выходя с очередного собрания в Институте демократизации, доктор предложил “активисту со стажем” сигарету. Тот укоризненно поглядел на соратника. “Не признаю этого варварства. Дым из ноздрей... Ещё пламя изо рта — и Змей Горыныч. Вам тоже советую бросить эту дурную привычку”. “Тогда зачем он там? — подумал Карабанов. — А-а... Работа в массах. К ней призывал на том собрании экономист из Межрегиональной группы. Поднимать народ... Некурящий Горелик там, а я опух без курева, но здесь”.

Карабанову в самом деле стало казаться, что за последние дни он изменился в лице. Умом доктор понимал, что это не так, но сосущее желание вдохнуть хоть маленькую струйку дыма постоянно вытягивало толстые губы трубочкой.

Как только к табачным отделам магазинов и уличным киоскам выстроились огромные очереди, Сергей позвонил Фетисову. На базе ответили: Игорь Николаевич уехал в отпуск. Про Волкова доктор ещё до кризиса знал: тот в отпуске. У родителей жены на Нижней Волге.

Карабанов позвонил Андрею Нестеренко: нет ли у него какого-нибудь запаса — некоторые курильщики брали сигареты блоками. Электрик обрадовал: приезжай!

— Ну, теперь ты видишь, чего стоит твоя советская власть? — сказал доктор, жадно затягиваясь сигаретным дымом.

— Тут что-то не так, Сергей, — обескуражено ответил Нестеренко. — Похоже, у “пятнистого” совсем выпадают вожжи из рук. Не может быть, чтоб курево враз пропало само по себе ...Без чьего-то участия и разгильдяйства. Его везде было — море! И вдруг исчезло.

— Вожжи... А там и кнут. Не можешь ты без них.

— Я без порядка не могу, — сердито сдвинул мохнатые брови электрик. — Без нормального порядка. За бардак можно и вожжой по спине... Иль кнутом... если заслужил. У меня такое подозрение, что с табаком — дело нечистое, как будто кто специально организовал.

— Зачем? — с наигранным непониманием спросил доктор.

— Затем... Людей поднять на дыбы.

Нестеренко не подозревал, насколько он близко подошёл к истине: табачный кризис действительно был спланирован и организован.

По давно существующим правилам каждая табачная фабрика в определённое время останавливалась на профилактику. Остановку мелких фабрик рынок обычно не замечал — отсутствие их продукции легко перекрывали другие предприятия. Но одновременное закрытие табачных гигантов не допускалось. Их останавливали на профилактику раз в два года и обязательно в разное время.

Перед этим на складах создавали большой запас болгарских сигарет, который не трогали до периода простоя отечественных фабрик.

Летом 1990 года было сделано иначе. С 8 июля до 5 августа отправили в отпуск весь коллектив ленинградской фабрики имени Клары Цеткин — одной из крупнейших в стране. Через неделю то же сделали и на фабрике имени Урицкого. Её работников отпустили до 19 августа. Два ленинградских табачных гиганта остановились.

Одновременно встали на “профилактику” самые мощные фабрики в Москве: “Ява” и “Дукат”. Здесь тоже людей выпроводили в отпуска.

Перестали работать крупные и даже некоторые мелкие предприятия в других городах. За один день из 28 табачных фабрик Российской Федерации были остановлены 26. Табачная промышленность страны замерла.

Положение, хотя бы частично, мог спасти складской запас болгарских сигарет. Но его почти не оказалось — запас начали расходовать ещё в мае.

А на границе Советского Союза, на станции Чоп, остановили несколько эшелонов с болгарскими сигаретами. Они стояли там полторы недели.

Вдобавок ко всему в ту же Болгарию, где сигареты делали с использованием советской папиросной бумаги, её поставки прекратили.

Всего этого оказалось достаточно, чтобы курящая страна взорвалась. Когда у Нестеренко кончился запас, он сам бил кулаком в закрытые окна киосков, ругал вместе со всеми власть. Но если для него власть концентрировалась в лице велеречивого, пустословного Горбачёва, то для многих других она теперь сливалась в некую многопортретную, как на демонстрации, мозаику, при этом вызывающую резкое отторжение и всё более крепнущее чувство, которое можно было выразить одним словом: “Надоело!” Теперь о политике не говорили вслух только глухонемые. Митинги “Демократической России” собирали людские моря, которые отзывчиво колыхались на призывы ораторов отказывать в доверии существующей власти. Даже Волков, который всё бурное бестабильное время пробыл в Волгограде, где, благодаря запасливому тестю, особых перебоев с куревом не почувствовал и все московско-ленинградские страсти видел только по телевизору, вернувшись домой, ощутил заметную перемену в настроениях людей. Теперь и он, как и Андрей Нестеренко, считал Горбачёва главным виновником набирающего темпы разрушения. Поначалу генсек казался ему умным, смелым и могучим капитаном гигантского корабля, который, в отличие от команды-народа, просматривает курс судна далеко вперёд, видя и коварные извилистые проливы, и прикрытые тонким слоем воды смертельные рифы. Теперь же он всё чаще представлялся учителем растерянным мужичишкой, который, приняв большой корабль за привычную для него лодку, то отлетает от штурвала вздыбленного волной судна, то вцепляется в него, не зная, куда лучше кру-

тить штурвал — влево или вправо. Мелкий, тщеславный человечек, самонадеянно поверивший в свои возможности, оказался слабым и недальновидным функционером. Политический капитан стремительно превращался в политическую щепку, захлёстываемую водой, и это понимали уже многие в стране, поворачиваясь к тем, кто всего через 500 дней обещал сытую жизнь, демократию, “как на Западе”, и небывалое в истории процветание России.

* * *

После драматичных недель “табачного кризиса” курево стало кое-где появляться. Но прежнего достатка уже не было. Этот специфический дефицит особенно раздражал миллионы курильщиков. За сигаретами и папиросами теперь выстраивались очереди по полкилометра. Зато у спекулянтов — по цене в десять-двенадцать раз дороже — было всё.

Люди не понимали, почему так происходит. Ведь табачные изделия производили не спекулянты, а государственные фабрики, и поступать они должны были, как всегда до этого, в государственную торговлю. Однако до магазинов сигареты с папиросами не доходили, и народ однозначно связывал это с бессилием власти, справедливо считая, что кто-то специально перенаправляет потоки в другие руки и делает это почти в открытую, без всякой боязни наказания.

Намаявшись в очередях, Нестеренко решил бросить курить. Однажды утром смял пустую пачку, выкинул её в мусорное ведро и с того дня не дотронулся до сигарет, хотя первое время, особенно после еды, сильно страдал. Рука сама, автоматически лезла в карман. Спыхватившись, Андрей сжимал крупные губы, и пока воля не подавляла мучительный позыв, не давал себе возможности расслабиться.

Осенью, на охоте по зайцу с гончими, и доктор заявил товарищам, что бросает курить, но получалось это у него тяжело. Выпив водки, брал волковскую пачку — тот всегда выкладывал сигареты на стол: вдруг захотят егеря, страстно нюхал её, жмурился от удовольствия, однако под взглядами товарищей — у Волкова жалеющим, у Нестеренко ироничным — возвращал пачку на место. Смущённо оправдывался:

— Во сне вижу, как курю.

Сейчас, взволнованный недавней перепалкой с электриком и особенно неожиданным рассказом Фетисова, который был явно нехстати, доктор опять потянулся к волковским сигаретам.

— Бери, бери, — снисходительно сказал Нестеренко. — Пока твои друзья-демократы последнее не спрятали. Сгноят... Потом выбросят на свалку.

После сообщения товароведа Андрей уже не сомневался, что дефицит в стране создают и усиливают специально, чтобы поднять народ против всей государственной системы. Знает ли об этом Горбачёв или его, как глупого котёнка, обводят вокруг пальца, для Нестеренко значения не имело. Теперь он ещё сильнее захотел встретиться с людьми, про которых ему недавно говорил парторг завода Климов. Люди эти, по намёкам Климова, имели связи с окружением Горбачёва. Их целью было убрать “пятнистую балаболку”. Сторонников такого замысла, как понимал Андрей, с каждым днём становилось всё больше. Это подтвердил и недавний его разговор с журналистом Савельевым.

Они познакомились во время антиалкогольной кампании. Корреспондент “второй центральной газеты” Виктор Савельев приехал тогда на машиностроительный завод, где работал Нестеренко. В редакции ему поручили написать о заводском обществе трезвости. Председатель общества был в отпуске, и в парткоме рекомендовали поговорить с его заместителем на общественных началах — инженером-энергетиком из сборочного цеха Андреем Нестеренко. Виктор с пониманием встретил начало антиалкогольной борьбы. Однако вскоре увидел, что дело явно идёт не туда. Ожидая прихода Нестеренко, надеялся хоть здесь услышать о хороших результатах.

В тот раз они договорились до того, что серьёзную кампанию Горбачёв начал, не обдумав как следует последствий. Впервые оба засомневались в дальновидности генсека. Расстались, с интересом открыв друг друга.

После той встречи Савельев несколько раз звонил Андрею и трижды приехал на завод. Нестеренко был для него вроде лакмусовой бумаги. То, в чём Виктор был почти уверен, он дополнительно проверял на Андрее. Постепенно оба стали воспринимать Горбачёва как одного из главных закопёрщиков нарастающих проблем.

— Его надо как можно быстрее лишить власти, — сказал недавно Савельев. — Ребята из “Правды” рассказывают, что их редакцию завалили резолюциями партсобраний. Все требуют сменить Горбачёва.

Андрей был согласен с этим. Уж если индифферентный Фетисов, подумал Нестеренко о товароведке, начинает возмущаться, то другие, более активные, уже знают, что надо делать. “Потерпи, Игорь, — мысленно повторил электрик свой недавний призыв, глядя на свернувшегося клубочком товарища. — Гирия до полу дошла. Часы скоро должны остановиться”.

Он встал, чтобы взять с газовой плиты кипящий чайник. Но, возбуждённый, резко задел табуретку, она с грохотом упала на пол. Адольф, который что-то негромко втолковывал красноглазому Николаю, быстро обернулся. И увидел, как Волков вытаскивает из столешницы торчащий нож.

— Ты мне весь стол истыкаешь, Владимир. Будет как решето.

— Не бойся, — ответил за Волкова Нестеренко. — Он больше одной дырки не сделает. Ни на столе, ни... хотя бы вон на стене. В копейку отсюда попадёт.

Егерь недоверчиво посмотрел на Волкова. До стены было далеко.

— Попаду, — спокойно подтвердил учитель. Адольф заколебался, потом глазки его азартно вспыхнули. Он резво подошёл к стене и вилкой вспорол на обоях круг величиной с небольшое яблоко.

— Ну-ка.

— Отойди.

Нож искрой блеснул над столом и через мгновение вонзился в центр округности. Егерь раскрыл рот.

— Случайность, — сказал Валерка, с усилием вытаскивая нож, прочно засевший в дереве под несколькими слоями обоев. Волков взял нож, и не успел Валерка опуститься на скамью, как молнией сверкнула снова и пронзила обои рядом с прежним местом.

— Случайность, — передразнил егерь. — Поди-ка дай собакам воды... Федя-Альберт.

— Да, о собачках надо позаботиться, — угодливо вставил Карабанов. — Завтра у них последний день. Придётся им поработать. Пошуметь как следует.

— А ктой-то сегодня утром кричал в лесу? — вспомнил Слепцов. — Вроде душили кого. Ты слышал, Адольф?

— Сова.

— Сова? — изменившись в лице, тихо переспросил Павел. — Не может быть... Зимой совы не кричат.

— Говорю тебе: сова! — с упрямым недовольством повторил егерь. Он точно знал, что это была сова, но почему она вдруг подала голос среди зимы, сам не мог понять. Разве что из-за погоды — январь в тот год резко “шатало” из слабых морозов в сильные.

— Может, она есть захотела, — предположил Адольф, мало веря, однако, в собственное объяснение.

— Какое там “есть”? Ты што! При чём тут еда?! — непохоже на себя закричал Слепцов. — Мышь у неё в когтях — та верещит. А сова — тихая птица. Вещая она! Если подала голос — не к добру. Быть беде!

— Брось, Паша, мистику, — остановил товарища Нестеренко. — Всё в приметы веришь. Ты видел, Адольф, как работают советские десантники? Володя был в десантных войсках.

— Хорошо работают.

— Он был в спецназе. В команде особого назначения. Сейчас такие ребята нужны, чтоб наводить порядок. А он взрослым парням рассказывает про мадам и мусью... Эх, Вовик, Вовик! Из них бойцов надо готовить. Страну спасать.

— От кого? — насмешливо спросил Карабанов.

— Да от твоих друзей — демократов. Вы ведь какие демократы? Пока власти нет — зубки в улыбке... обещаете всем свободу и равенство. Но я догадываюсь, что будет, когда захватите власть. Этими зубками всех несогласных изгрызёте в кашу.

— Это не мистика, Андрей, — глухо проговорил Слепцов. Глаза его будто совсем провалились и в глубине сверкали тревожным огнём.

— Ты о чём? — не понял Нестеренко.

— Про сову я... Про сову. Непростая это птица. С глубокой старины люди считают её вестницей несчастий. В древнем Риме сову люто ненавидели. Поймают — и тут же сожгут, а пепел — в реку. А в средневековой Европе совы боялись, считали, что она беду приносит. Мне дед много рассказывал про всякие приметы. Если сова ночью ударится в окно, то дом скоро сгорит или хозяин умрёт.

— Ну, ты даёшь! — поёжился Волков.

— Да-да, Володя, — быстро говорил Слепцов. — Животные и птицы обладают даром предчувствия. Обычные птицы. А сова — необычная. Она лицом на человека похожа. У кого из птиц глаза, как у человека, прямо смотрят? Только у неё. Ты слышал сову в полёте? Никогда! Даже филин, а это большая сова — крылья чуть не полтора метра! — летит бесшумно. Нет, нет, вы зря не верите. Дед рассказывал — он был лесничим... говорил: перед войной некоторые звери и птицы вели себя необычно. Видимо, раньше человека они чувствуют катастрофу.

— Сказки всё это! — не выдержал Нестеренко. — Уж кто бы говорил, а на тебя, Пашка, не похоже. Ты ещё ракеты начни крестить. Приметы какие-то дремучие...

— Такое вполне возможно, — значительно подтвердил Карабанов. — Некоторые учёные пишут — я сам читал, — что если где-то скапливается много страданий, много людского горя, и волны физической боли вырастают в цунами, то первыми улавливают импульсы этой коллективной беды животные и птицы. Не забывайте — перед войной был тридцать седьмой год. Один он чего стоит!

— Тогда сегодня весь лес должен орать, — мгновенно отреагировал Нестеренко. — Погляди, сколько пятнистый принёс горя! Везде конфликты, войны, кровь. При Брежневке мильчанеры в кобурах носили пирожки. Сейчас — не успевают отстреливаться. А тут одна сова ухнула. Правильно Адольф говорит: есть хочется — потому и кричит.

Он на мгновенье задумался:

— А вот насчёт морды... Это интересно! Ты прав, Паша, — весело сказал электрик. — Горбачёв на сову похож... Когда в очках...

— При чём здесь Горбачёв? — недовольно поморщился доктор. — Свихнулся ты на нём.

— На меченого он похож, — волнуясь, проговорил Слепцов. — Моя бабушка, когда увидела, сразу сказала: этот меченый. Родимое пятно на голове — отметка дьявола. Антихриста... От удара копытом сатаны.

— Преступник он, — хмуро бросил Нестеренко — По делам видно. Из самых опасных. Тем пришивают на одежду знак бубнового туза. Спереди — напротив сердца. И сзади тоже — чтобы удобнее было целиться. А у этого — прямо на башке. Издала можно попасть.

— Я вам говорил... Сразу сказал. Вы тогда обсмеяли меня. Особенно ты, Андрей. Не всё надо сразу обсмеивать. Сам Бог предупреждает: не доверяйте ему. В старину говорили: нельзя верить меченым и рыжим. В приметах иногда запрятана истина.

Глава двенадцатая

В последние годы скрытный Слепцов становился всё более суеверным. Он и раньше не без внимания относился к разного рода предсказаниям, приметам, оккультным явлениям. Пошло это с детства. Каждое лето мальчиш-

кой он приезжал с матерью из Германии, где работал отец, в глухой район Владимирской области — к деду с бабкой. Там учился рыбачить и охотиться, понимать природу — в этом наставником был дед, а от бабушки воспринимал необычные толкования различных явлений. Перед сном она садилась с краешку на его кровать и рассказывала интересные, иногда жутковатые истории про леших, оборотней, русалок, перемешивая реальное со сказочным.

Подрастая, Павел слушал бабушкины рассказы уже с некоторым скепсисом, однако во многие приметы и предсказания постепенно стал верить и сам.

С годами интерес ко всякой ирреальности то угасал, то, благодаря какому-нибудь толчку, вспыхивал. Так было, когда начались разлады с женой. Павел вдруг вспомнил прочитанные перед свадьбой гороскопы. Кто-то привёз из-за границы тоненькую книжечку — в Советском Союзе такое не издавалось, — и компания с любопытством стала примерять на себя незнакомые одежды. Дошла очередь до Слепцова и его девушки. Гороскопы предупреждали, что знаки Зодиака самого Павла и его будущей жены абсолютно несовместимы. Павел тогда самонадеянно усмехнулся. Жгучая обида от внезапного и необъяснимого ухода Анны остывала трудно. На всех молодых женщин он смотрел теперь с недоверием, чуть-чуть брезгливо и высокомерно, не снисходя до различия их индивидуальных особенностей. Это придавало уверенности в своих силах, и Слепцов не сомневался, что их у него хватит, чтобы сотворить из ветреной, пустоватой девушки надёжную, достойную жену.

Однако через несколько лет начал понимать, что это не удалось.

После развода он стал по-другому воспринимать гороскопы, снова обратил внимание на приметы и предсказания, постепенно погрузился в астрологию, которая к тому времени начала выходить из резервации лженаук в хотя и спорную, но все-таки имеющую право на существование дисциплину.

— Это ещё боль-мень серьёзное дело, — сказал как-то Нестеренко, когда Павел в очередной раз заговорил об астрологии и приметах. — А кошки твои — чужь собачья.

Тем не менее, Слепцов оставался верен себе. Он мог долго искать тряпку, чтобы вытереть стол, и никогда не вытирал его бумагой, даже если она была под рукой: “Деньги водиться не будут”. Не разрешал свистеть в комнате — опять же деньги провистишь. Если кто-нибудь рассыпал соль, Павел не находил себе места: будет обязательно ссора. Когда приходилось за чем-то вернуться, он должен был непременно посмотретья в зеркало. Не было зеркала — искал свое отражение в стекле. Однажды Волков едва не врезался в идущую впереди “Волгу” Слепцова — так резко тот затормозил. “В чём дело?” — закричал Владимир, высунув голову в окно. Оказалось, дорогу перебежала чёрная кошка.

После того как Горбачёв стал Генеральным секретарём, Павел некоторое время понервничал. Потом перестал о нём думать — отвлекли другие заботы. С женой отношения портились обвально. Редкий вечер обходился без её истеричных выпадов. В муже её раздражало всё: бесстрастное, сухое лицо, запавшие глаза, не выражающие никаких эмоций даже после упрёков в мужской несостоятельности, какая-то необъяснимая выдержка в разговоре, несмотря на открытое заявление о том, что у неё есть “настоящий друг”.

— Другой на твоём месте убил бы меня! — крикнула жена Павлу, когда в запальчивости проговорила ему о любовнике.

— Я не другой. Живи. И радуйся, если можешь.

Больней всего Слепцову было оттого, что скандалы в соседней комнате слышал десятилетний сын. Павлу, выросшему в любящей, спокойной семье, это разрывало душу. Понимая, что разлом уже не склеить, и желая спасти психику ребёнка, Слепцов не стал удерживать жену, которая собралась переезжать к другому. Но на новом месте у сына не было бы даже отдельной комнаты, и Павел ушёл жить к родителям, оставив квартиру новой семье.

А через некоторое время возник дискомфорт на работе. Главного экономиста завода перевели в министерство. У Павла с ним были хорошие отношения, и Слепцов тайне надеялся, что должность главного предложат ему. “Ну, что ж, что молодой, — думал он. — Сталин назначил Устинова нар-

комом вооружения СССР в тридцать три года. А мне уже тридцать четыре”.

Главного экономиста прислали из Днепропетровска, где делали межконтинентальные баллистические ракеты “Воевода”, получившие на Западе название “Сатана”. Ему было 59 лет.

Отодвинутая было в сторону личными переживаниями Горбачёв-тревога вскоре стала снова царапать сознание Слепцова. Теперь даже сильнее, чем поначалу. Какие бы действия нового генсека он ни брался анализировать, всё выходило с отрицательным результатом: и неудачная антиалкогольная кампания, и наспех сколоченная, скорее с политическими, чем с экономическими целями, программа конверсии, и объявленный курс на сокращение вооружений.

Завод, где работал Слепцов, не попал под конверсию. Но по другим предприятиям она прошла, как смерч через благоустроенный посёлок. Высокотехнологичные производства аврально переделывали под выпуск кастрюль и сковородок, лопат и гвоздей. Павел понимал: нужны товары народного потребления. Но не такой же ценой!

Особую настороженность к Горбачёву вызывали его решения в оборонной сфере. Одним из таких решений стала ничем не объяснимая сдача американцам ракетного комплекса “Ока”. Финал другого проходил на глазах самого Слепцова.

* * *

Об оружии, способном уничтожать противника лучом света на далёком расстоянии, издавна мечтали не только фантасты. После романа Алексея Толстого “Гиперболоид инженера Гарина” казалось, что мечты вот-вот превратятся в реальность. Но до тех пор, пока учёные не создали лазер, “стреляющий луч” воевал лишь на страницах книг.

Зато потом работы по созданию лазерного оружия рванули вскачь. Соединённые Штаты и Советский Союз стремились не только изобрести новые виды боевых лазеров: наземных, корабельных, воздушных, — но и опередить друг друга.

Особенно важным было космическое направление. Тот, кто сумеет раньше другого создать лазерное оружие, действующее в космосе, тот спасёт себя от военных спутников и ракет противника. Не возле земной поверхности, не над городами и оборонными объектами, а далеко за пределами атмосферы могла быть уничтожена несущаяся из космоса опасность.

Пробная пахота на “лазерном поле” началась в СССР в 70-х годах. Работы курировал секретарь ЦК Компартии, ставший затем министром обороны, Дмитрий Федорович Устинов.

Первый наземный лазер Советский Союз построил в Казахстане, вблизи озера Балхаш. В октябре 1983 года его опробовали с максимально шадящими возможностями. Над полигоном Сары-Шаган на высоте нескольких сотен километров пролетал американский космический корабль “Челенджер”. Лазер запустили всего лишь в режиме поиска цели, после чего у американцев неожиданно отключилась связь, резко забарахлила аппаратура, а космонавтам на короткое время стало не по себе.

Через год в Министерстве общего машиностроения началось создание космического аппарата “Скиф”, оснащённого лазерной пушкой.

Работы шли три года. Товарищи рассказывали Слепцову, что из цехов порой не уходили по полсутки. Но никто не жаловался. Наоборот, чем дальше, тем больше поднималось настроение. По разным признакам: случайным обмолвкам, многозначительным умолчаниям на собраниях специалистов — люди догадывались, что они делают то, чего у американцев пока нет и неизвестно, когда появится. Создавался новый тип космического истребителя. У него было одно очень важное преимущество перед другими видами лазерного оружия — экономичность. Для поражения цели лазерным лучом на расстоянии даже 500–600 километров требовалось огромное количество энергии, а значит, топлива. “Скифу” этого было не нужно. Способный долго ле-

тать на низких орбитах, он мог поражать военные спутники противника, догоняя их. Лазерную пушку не надо было делать дальнобойной — хватало двадцати-тридцати километров. “Скиф” обходился и без уникальных суперкомпьютеров — скорости вражеского спутника и догоняющего охотника напоминали бег зайца в голой степи и бросок пикирующего сокола.

Выведение в космическое пространство группировки “Скифов” означало неоспоримую победу Советского Союза в борьбе за ближний космос. В случае начала боевых действий советские “лазерные стрелки” могли быстро ликвидировать все военные спутники противника. И первый шаг к этой потенциальной победе был уже сделан. На космодроме Байконур стояла готовая к старту ракета “Энергия” с пристыкованным к ней 80-тонным истребителем. Ждали торжественного дня: на пуск должен был прибыть Горбачёв.

И он прилетел, но за три дня до старта. Ни основных исполнителей, ни смежников, ни командование Байконура это не насторожило. Решили: у генсека на день пуска могли быть запланированы другие важные дела. Поэтому в просторный конференц-зал космодрома народу набилось битком. Всем было интересно увидеть руководителя страны “вживую”, послушать оценку своей работы.

Однако с первых же минут людей охватило недоумение.

— Мы выступаем против гонки вооружений, — заявил Горбачёв. — В том числе в космосе.

У Слепцова похолодело внутри. Эти слова не предвещали ничего хорошего. Он как представитель ведущего ведомства был приглашён на день рождения, а выступление человека с пятном на лысине явно готовило похороны.

— Наши интересы тут совпадают с интересами американского народа... Мы категорически против переноса гонки вооружений в космос...

Павел поглядел на сидящего в президиуме министра общего машиностроения Олега Бакланова. Лицо его было мёртво-бледным, кулаки сжаты так, что побелели костяшки пальцев. Министр сам работал по шестнадцать часов в сутки, требовал чёткости от смежников, лично контролировал наиболее важные поставки. Всё для того, чтобы надёжней закрыть страну от угрозы из космоса. Теперь, после слов Горбачёва, стало ясно, что “Скифы” приговорены к уничтожению.

В назначенный день лазерный истребитель подняли в космос. И тут же повернули его в плотные слои атмосферы, где он сгорел.

* * *

После этого от каждого документа, за которым стоял Горбачёв, от каждого выступления человека с клеймом на лысине Слепцов суеверно ждал неприятностей. И они приходили. Как экономист, Павел понял, какую опасность таит горбачёвское предложение резко уменьшить объём госзаказа на предприятиях. Правительство Рыжкова на 88-й год наметило его сокращение в размере 5–10 процентов. Именно такое количество продукции предполагалось продавать по свободным ценам. Основная же масса считалась заказом государства и обеспечивалась всеми материальными и финансовыми ресурсами. Разумеется, цены на выпускаемую продукцию должны были регулироваться государством. Изучив полученный опыт, правительство намеревалось продолжить снижение объёмов госзаказа, чтобы через несколько лет довести его уровень до оптимального.

Однако на заседании Политбюро Горбачёв настоял на том, чтобы сократить объём госзаказа сразу на одну треть, а для некоторых министерств — на 50–60 процентов. К чему это приведёт в монополизированной экономике, Слепцов представлял. Первым делом монопольные производители поднимут цены на ту продукцию, которая окажется за пределами госзаказа. Благодаря этому получат большую сверхприбыль. Деньги пустят на зарплаты и премии, в результате чего неоправданно быстро, с экономической точки зрения, вырастут доходы работающих в промышленности. Чтобы сократить разрыв между этой частью населения и бюджетниками, потребуются дополни-

тельные траты бюджета, что ещё больше увеличит общую денежную массу в стране, в то время как товарная масса сократится. Немалая часть её уйдёт с внутреннего рынка на внешний. Другую часть снимут с производства как продукцию, хотя и нужную потребителям, но не дающую сверхприбыли. В итоге денег у населения окажется больше, чем товаров.

И всё произошло так, как предполагал Слепцов. В течение десятилетий закрытая экономическая система соблюдала синхронность роста доходов и товарной массы. После вмешательства Горбачёва движение пошло на разных скоростях. Уже в 88-м году вместо намеченного прироста доходов в 10 миллиардов рублей увеличение составило 40 миллиардов, в следующем — 60, а в 1990-м — сто миллиардов рублей.

Внутренний потребительский рынок взорвался. То, что оставалось после вывезенного за границу, припрятанного на базах, испорченного и выброшенного на свалки, всё это моментально сметалось с прилавков. Магазины опустели. С одной стороны, дефицит, с другой — резко выросший объём денег у населения подняли цены, породили невиданного размаха спекуляцию, когда товары из государственной торговли в открытую уходили на рынки и там продавались в несколько раз дороже. Экономическая преступность становилась привычным, ненаказуемым явлением.

Одновременно рушилась одна из главных опор государства — бюджетное равновесие. Последний раз бюджет без дефицита с большим трудом удалось выдержать в 1988 году. Однако уже на следующий год дефицит составил 100 миллиардов рублей. Страна под руководством Горбачёва и подобранной им команды стала быстро скатываться в долговую яму. В начале его правления внешний долг составлял 20 миллиардов долларов, а в конце перевалил за 100 миллиардов. Приняв государство с золотым запасом в 2200 тонн, он за короткий срок уменьшил его до 200 тонн.

Теперь Павел Слепцов больше, чем кто-либо, был уверен в персональной причастности Горбачёва к надлому государства. Здание трещало по всем этажам. Терялось управление экономикой, финансами, денежным обращением, политическими процессами. Люди переставали понимать не только происходящие события, но и друг друга. После разрушения Берлинской стены и начала объединения Германии отец Павла сказал однажды за ужином, что служить больше не хочет и уходит в отставку.

— Ты хорошо подумал? — спросил Павел. — Впереди большие перемены. Такие, как ты, будут на вес золота.

— Жить, наверно, станет трудней, — сказала мать. — Но если ты решил, Вася, я не буду тебя отговаривать. В конце концов, вернусь к репетиторству.

В молодые годы из-за переводов мужа с места на место она подолгу не работала и тогда занималась музыкой с чужими детьми.

— За это не беспокойся, мама. У отца будет хорошая пенсия... Я тоже не два рубля получаю.

Когда мать вышла, Павел снова вернулся к неожиданному намерению отца.

— Мне кажется, ты спешешь. Да, Горбачёв, судя по его делам, ничтожество. Но он разрушает систему, а это главное. Лучшее из всего, что он сделал.

— Ты хоть соображаешь, что говоришь? Система — это социализм.

— Ещё скажи, как Андрей Нестеренко, что он — новое историческое явление, совсем молодое, что способен к различным трансформациям.

— Абсолютно правильно говорит твой Нестеренко. Это тот — с такими бровями?

Отец раздвинутыми пальцами показал над глазами бровищи. Он видел Андрея один раз, мельком, но профессиональная память на лица и особые приметы сработала точно.

— Если для тебя не авторитет твой Нестеренко, то Сахарову-то можешь поверить? Правозащитник... Ваш кумир... Он тоже считает, что социализм можно реформировать. Правда, я бы добавил: осторожно. И с другой головой. Не как у Горбачёва... Социализм, Паша, может быть разным. Я тебе

рассказывал про Швецию... Данию. Там тоже социализм. С частной собственностью... С многопартийностью. Не такой, как у нас. На Балканах, в Восточной Европе он был неодинаковым. Возьми Югославию с её моделью “социалистического самоуправления”, с разными формами собственности, с широкими рыночными отношениями. Или Венгрия... Там был свой тип социализма. А китайцы! Вот за кого я радуюсь и кого боюсь. Благодаря социализму они через несколько десятилетий станут главным народом земного шара. Первые, на кого положат глаз, будем мы. Наша страна. Если она к тому времени ещё останется.

— От твоих прогнозов, Василий Палыч, мурашки по телу, — сдержанно улыбнулся Павел. Они были похожи. У обоих — глубоко утопленные глаза. Оба худощавы лицом, со впалыми щеками. Когда младшему Слепцову кто-нибудь после долгого невиденья заботливо советовал: “Вам бы отдохнуть, Пал Василич. Похудели как!” — он отвечал: “Это у нас конституция такая. Семейная”.

И волосы у обоих были одинаково жидкие. Только у сына тёмные, плохо прикрывающие раннюю плешинку на темени, а у отца — серые от седины, по цвету почти совпадающие с большой лысиной.

— В Европе социализму кранты, — заявил Павел. — “Бархатные революции” сметают его. А китайцы... Эти не скоро выйдут из нищеты. Если вообще когда-нибудь выберутся. Социализм — это равенство в нищете.

— Нет. Это равенство в достижении богатства. Зачем, скажи мне, одному человеку миллиард рублей или, допустим, долларов? Он что — есть их будет? Они ему нужны, чтоб развить талант физика, конструктора, музыканта? Нет, для этого достаточно средств богатого государства, которое будет тратить их на развитие всех своих граждан. Большие деньги нужны, чтоб человеку завидовали. Не его таланту и мастерству, которыми его природа одарила... которые он развил, благодаря заботе государства. А завидовали наворованным деньгам. Предки наворовали или он сам — не имеет значения. Социализм, Паша, это общество социальной справедливости.

— Оно и видно. Особенно сейчас. “Пятнистый”, как называет его Андрей, по своему скудоумью открыл все ящики зла.

— Он, конечно, заслуживает участи Чаушеску*... Которого, кстати, предал. Да он их всех предал! Как сказал Маркус Вольф... я тебе рассказывал о нём — легендарный руководитель разведки ГДР: “Советский президент продал ГДР за бутерброд с колбасой”. А лучше всего разобрались со своим генсеком в Китае: сняли со всех постов... Очень либеральничал, когда надо было власть употребить. Как наш Горбачёв.

Отец помолчал, размешивая сахар в чашке кофе.

— Но, понимаешь, не он один виноват. Посмотри на его окружение. Одни без стержня... без хребта. Другие давно в агентах влияния. Третьи — мелкая пыль, увеличенная микроскопом времени. Мы, конечно, затормозили развитие... Застоялись. Правильно говорят: “застой”. Ржавчина пошла по корпусу судна. Но ты знаешь — ты человек заводской, — что есть много способов убрать ржавчину — металл-то у судна толстый. А можно наоборот — усилить процесс коррозии. Вот Горбачёв этим и занялся.

— По неумению?

— Трудно сказать. Я анализировал, как он пришёл к власти. На Западе давно создали отдельную науку для изучения нашей политической элиты — кремниологию. Только в Соединённых Штатах почти 200 университетов и специальных центров занимаются этим. Изучают характеры, привычки, способы воздействия. Начинают вести перспективных людей издалека, с областного уровня. Пробуют влиять на них. Аккуратно, через дипломатов, прессу, помощников. К наследникам Леонида Ильича стали приглядываться

* Николае Чаушеску — Генеральный секретарь ЦК Румынской компартии, Президент Социалистической Республики Румыния. Активный противник советской перестройки. “Скорее Дунай потечёт вспять, чем состоится “перестройка” в Румынии”, — говорил он. Застрелен 25 декабря 1989 года вместе с женой Еленой без открытого суда на задворках военной базы. По некоторым сведениям, свержение Н. Чаушеску было одобрено на переговорах между Дж. Бушем и М. Горбачёвым (прим. авт.).

заранее. Выяснили то, что и мы без них знали: Андропов и Черненко долго не протянут, Алиев и Кунаев не подходят. После грузина Сталина, украинцев Хрущёва и Брежнева представители нетитульной нации вряд ли получат высший пост. Надо было искать среди молодых русских. Заслуживающих внимание оставалось двое: Горбачёв и Романов. Я тебе пока не могу сказать о причинах... да и не всё понятно, но поставили они на Горбачёва. Хотя Романов был намного весомее. Он заметно разрешил жилищную проблему в Ленинграде. Благодаря агропромышленным объединениям область хорошо обеспечивала себя продуктами. Андропов забрал его в Москву, сделал куратором ВПК. Это насторожило конкурентов и, прежде всего, Горбачёва. Значит, Романова надо было убрать, а для этого дискредитировать в глазах партии и страны. Помнишь скандальную историю в зарубежной прессе, как секретарь Ленинградского обкома партии Романов якобы устроил свадьбу дочери в Таврическом дворце, взял из Эрмитажа царский сервиз на 144 персоны и что-то из него разбили?

— Да, помню какую-то шумиху. Даже у нас на заводе возмущались.

— Так вот — не было этого! Клевета от первого до последнего слова. Свадьба справлялась на даче, присутствовали всего пятнадцать человек. Никакого сервиза. Сам Романов сильно опоздал. А появилась статья в немецком журнале “Шпигель”, после чего на Советский Союз её содержание повторили радиостанции “Свобода” и “Голос Америки”. Романов жаловался Андропову, хотел дать публичные объяснения, но тот отмахнулся: “Не обращай внимания. Мы знаем: ничего подобного не было”. Кстати, потом Верховный Совет России проверил. Подтвердилось: клевета. Напечатали маленькое опровержение. Но кто у нас читает опровержения? Да и опоздали с ним.

— Хорошо сработали. Только в чью пользу?

— Конечно, не в романовскую. Когда выбирали Генерального секретаря, было два заседания Политбюро. Одно — через два часа после смерти Черненко, как говорится, ещё тело не остыло. На нём троих членов Политбюро не было: Романов отдыхал в Прибалтике, в Соединённых Штатах находился Щербицкий. Когда он узнал о смерти генсека, потребовал от посла немедленной отправки в Союз. В ответ услышал: “Ваше возвращение нежелательно”. Представляешь, чьё это должно было быть указание, чтобы так дерзко ответить члену Политбюро! На мой взгляд, только министра иностранных дел Громыко. Он продавливал Горбачёва из личного интереса. Приказ задержать вылет Щербицкого на три дня получил и командир правительственного авиаотряда.

На том экстренном заседании Горбачёва выбрали с перевесом в один голос! Если бы эти двое присутствовали, а все знали, что они голосовали бы против, не бывать бы нашему краснобаю генсеком!

Теперь сам видишь, что творится. Человек тщеславный, он даже не замечает, как его убаюкивают лестью... Щекочут подмышками, чтоб ручонки расслабить... А тем временем эти ручонки аккуратно берут цепкими руками и передвигают их к рычагам разрушения.

— Что ж тогда за система у нас, если его остановить не может?! — воскликнул Павел. — Где партия — *руководящая и направляющая сила*? Где ваше ведомство? В Америке президентов хоть отстреливают, если нет другой возможности избавиться.

— Я тебе сказал, кто с ним рядом. Он года за три сменил почти 90 процентов областных и республиканских партийных секретарей. А наше ведомство... Крючков, может, был на своём месте, когда руководил внешней разведкой. Сегодня и место другое, и обстановка другая. Тут споньявым нельзя быть. Думаем, как бы он в опасную минуту не наложил в штаны.

— Тогда тем более эта система не имеет права на существование! Если она неспособна остановить явного своего разрушителя, то зачем ей жить? Пусть придут новые силы. Здоровые. Свежие.

— Это Ельцин здоровая сила? Паша, мы очень хорошо знаем его. Он — алкоголик, а у таких людей психика нарушена. Живёт импульсами... инстинктами... и самый главный из них — быть во власти. Ты думаешь, человек, который приказал снести дом Ипатьева, где расстреляли царскую се-

мью, когда-нибудь искренне пожалеет о сделанном? Привыкший надевать нужную маску, он и сейчас примеряет новую — маску демократа. А под ней всё та же личина — жажда власти. Силы, которые ты называешь здоровыми, погубят Союз. А уж про свежесть их, Павел, лучше не говори. От некоторых такая вонь — не спасает иностранный одеколон. Писали нам на своих... стучали... Осуждали тайно и просили, чтоб никому-никому. Теперь грызут нас... Впрочем, давно известно: сильнее всего предатели ненавидят то, чему недавно служили.

Глава тринадцатая

Павел вспоминал потом, с каким сожалением смотрел на него отец — до такого остро выраженного противостояния они раньше не доходили, умели останавливаться перед невидимыми границами потому, что понимали: переступив их, могут психологически ранить друг друга.

Однако в тот раз Павел уже не мог остановиться. Будь он по натуре другим, хотя бы как Андрей Нестеренко, ему, наверное, было б легче справиться со своими эмоциями и размышлениями, что-то выплеснуть в гневном выкрике, чем-то в разговорах “нагрузить” товарищей.

Но его “застёгнутая” натура всё вбирала в себя и мало что выбрасывала. Поэтому вырвавшиеся протуберанцы страсти, наряду с некоторой горечью от обожжённых отношений с отцом, одновременно влили в душу и какое-то облегчение.

Слепцов хотел нового, как волнующей возможности сбросить старое. Там, в прошлом, останутся мучительные переживания из-за бывшей, и он понимал, что теперь уже навсегда бывшей жены. Он доказал ей, что им могут сильно увлекаться, что женщин — и даже очень молодых — он способен заставить плакать от счастливого удовольствия. В отбрасываемой жизни останется прошлая Анна, а в новую они войдут вместе и обновлёнными. Он станет *выездным*, они поедут с Анной в Германию. Она объединилась, но поедут они в ФРГ. В ГДР он был... мало что помнил, но думал, что там жизнь, как в СССР. А вот ФРГ! А может, поедут во Францию... Или ещё лучше — в Англию...

В том пока что неизвестном, но наверняка хорошем мире он будет гораздо больше, чем сейчас, востребован со своими способностями экономиста. Да мало ли сколько хорошего откроется в новом мироустройстве!

Каким оно будет в реальности, Павел представлял смутно, видел отдельные размытые клочки. Главные атрибуты социалистической системы, конечно, ликвидируют. Единоначалие Коммунистической партии уже выбросили из Конституции — и правильно сделали. Должна быть многопартийность, как везде. Законы будут принимать демократическим путём, под контролем народа — вон как орут депутаты на своих съездах. Частную собственность разрешат, но только не в тех отраслях, которые отвечают за безопасность страны. Эти трогать нельзя. В торговле — пожалуйста. В бытовом обслуживании — сколько угодно. Пусть частники соревнуются друг с другом. Особенно — в сельском хозяйстве. Не оправдали себя колхозы — об этом то и дело кричит в телевизоре какой-то Черниченко. Уверяет, что всех накормит фермер — тоже частник. Наверное, правильно — в развитых странах колхозов нет.

Остальная жизнь в представлениях Слепцова чаще всего была похожа на привычную, догорбачёвскую. Он, конечно, предполагал, что её обновят, делают красивей и ярче, наподобие той, которую он видел в иностранных фильмах, в журналах из ФРГ, Англии и США — их по служебной линии получал отец. Чтобы не забывать языки, Павел с удовольствием читал их — даже брать в руки эти красочные вещи было приятно, но всё время чувствовал, что до каких-то глубин той повседневной жизни никак не получается проникнуть. Наверное, потому, что зарубежные издания не считали нужным писать о приземлённых вещах. Всем известные социально-бытовые параметры там уже никого не интересовали. Ведь и те, кого знал Павел здесь, тоже не

обращали внимания на устоявшуюся повседневность советской жизни — бесплатное образование и здравоохранение, дешёвый отдых в санаториях и копеечные платы за коммунальные услуги, недорогие поездки на поездах и в самолётах, а видели и критиковали только их недостатки. Вот их-то — эти недостатки, думал Слепцов, и уберёт новая жизнь. Ко всему положительному, что останется от демонтированной советской системы, добавится неизвестное, но обязательно хорошее из нового.

Беспокоило только, что будет с матерью и отцом. Смогут ли они безболезненно вписаться в будущей переустроенный мир и не окажутся ли отторгнутыми имплантатами?

А ещё в последнее время Слепцова стала тревожить судьба самого Горбачёва. Павел презирал его. Каждый раз, увидев по телевизору, брезгливо кривился. Но он боялся, что такие люди, как отец и Андрей Нестеренко, а их, догадывался Павел, в стране миллионы, не дадут Горбачёву уничтожить систему, выбросят из власти, как китайцы своего генсека, или пристрелят раньше, чем тот закончит неосознаваемое им дело. Ведь стрелял же недавно в Горбачёва какой-то военный. На этот раз неудачно — сатана сберёт своего “меченого”. А если удастся? Андрей, видимо, не зря сказал о мишени на лысине и бубновых тузах на одежде. Тогда новая жизнь, о которой Павел думал постоянно, какой с нарастающим нетерпением ждал, пряча спрессованное желание в бесстрастную оболочку, никогда не появится?

Он враждебно уставился на электрика:

— А почему ты, Вольг, заговорил о мишенях? Сам, что ль, собираешься целиться в горбачёвскую лысину?

Спросил вроде как усмешливо, даже шевельнул губы в улыбке, но из првалов глазниц, словно дула пулемётов из бойниц ДОТа, прицельно глядели чёрные зрачки.

— Возможности нет. Его уберут другие.

— Вообще-то Горбачёв свою роль отыграл, — небрежно бросил Карабанов. — Сегодня он — тормоз демократического обновления. Мечется, как дерьмо в проруби. Ельцин — вот кто истинный лидер: вышел из партии, борется с привилегиями... Настоящий демократ!

Слепцов поджал тонкие губы.

— Он такой же демократ, как Адольф — папа римский.

Ему опять стало тревожно. Почему доктор всё хуже говорит о “меченом” и всё больше хвалит Ельцина? Это не случайно, думал Павел. Значит, демократы сделали ставку на Ельцина и могут сомкнуться с опасными для Слепцова людьми, чтобы убрать Горбачёва.

— Ельцин твой — дуролом. Пусть скажет спасибо Горбачёву — тот ему расчистил дорогу.

— Не надо, не надо, Паша! Спроси народ, кто из них настоящий вождь. Адольфа вон спроси, Валерку с Николаем. Посмотри на Ельцина. Какая у него харизма! Это же глыба. Ты согласен, Адольф? — подался к егерю Карабанов. Тот с прежним отчуждением взглянул на доктора, раздумывая: отвечать этому мужику или обойдётся? Но вопрос, похоже, задел что-то неуютное в мыслях егеря.

— Харизма-то у него, дай Бог, — раздумчиво проговорил он. — Во какая!

Он подвигал лапами вокруг раскрасневшегося лица.

— Только я што-т большого ума на этой харизме не вижу. Он какой-то... вроде сам не поймёт, куда попал.

Павел мелко засмеялся:

— Да пьёт он, Адольф! По-чёрному. Горбачёв рассказывал по телевизору: зашёл к нему в кабинет Ельцин... с кем-то таким же... Пока хозяина не было, выпили целую бутылку коньяка. Хозяйского. Тот её, видать, припас для большого случая...

— Ну, и вожди у демократов, — усмехнулся Нестеренко. — Не могут выпивку поделить. А взяли за страну.

— Ельцина не равняй! — оборвал Карабанов электрика. — Это тебе не Горбачёв. Тот, конечно, подготовил почву для демократических перемен.

Резво начал пахать... Но в народе говорят правильно: слаб мужик, за юбку держится. Борис Николаич будет порешительней. Он быстро сделает советской империи необходимую хирургическую операцию. Мы поддерживаем суверенитет прибалтийских государств... Отпускаем Грузию... Объявили о нашем суверенитете. Россия стала свободной.

— От кого? — спросил Волков, засовывая нож в висящий на поясе чехол.

— А то ты не знаешь! Нас обирали все республики.

— Надо было всего лишь поправить экономические взаимоотношения, — сказал Нестеренко. — А вы, чтобы вывести клопов из дивана, хотите сжечь дом.

— Быстро... быстро, — проворчал Адольф. — Мой тесть Иван Данилыч — умный был костромской мужик... он в таких случаях предупреждал: “Во всяком деле нужен ум и береж. А то сядешь срать и хрен обсерешь”.

— Ф-фу! — брезгливо отшатнулся Слепцов. — Грубо-то как!

— Зато верно! — засмеялся электрик. — Прямо про нашего пятнистого попрыгунчика.

— А ты сам откуда, Адольф? — спросил Волков.

— Из этих вот... независимых мест. В Латвии родился. Когда наши туда в сороковом вошли, мать была беременная. Жила у родителей возле Костромы. Отец — командир. В Риге снял квартиру... это чтоб мать приехала. Чё её понесло — не знаю. Но вскоре я там увидел белый свет.

— Теперь понятно, откуда имя, — догадался учитель. — Сороковой год... Пакт с Германией о ненападении... Гитлер — лучший друг советского народа. Тогда многие называли ребятишек Адольфами. Но ты не переживай! Это не редкое имя. В Скандинавии короли были Адольфами.

— Я своё отпереживал. А вот как там сейчас будут жить русские — вопрос интересный. Порядочных латышей фашисты задавят — эт я вам гарантирую. Первые, об кого начнут вытирать сапоги, будут русские.

— Борис Николаич не даст, — самоуверенно заявил Карабанов. — Эти государства получают свободу благодаря его поддержке. Да и как он, русский, предаст своих?

— Какие государства! — рявкнул Адольф. От гневного вскрика поднял голову задремавший было Фетисов. Посмотрел на сидящих за столом, ничего не понял и снова откинулся на матрас.

— Там, кроме литовцев, ни у кого государств никогда не было! Двадцать лет после нашей революции побыли самостоятельными... нищие, босые были, а до того хоть латыши, хоть эстонцы жили в других государствах. Под немцами... Под шведами... В нашей империи.

Такое неожиданное знание егерем истории удивило городских. Появилась мысль, что Адольф говорит об этом не первый раз. А он продолжал удивлять. Вынув из внутреннего кармана куртки несвежий листок бумаги, бережно разгладил его на столе и вперил маленькие глазки в Карабанова.

— Говоришь, получают свободу? Становятся независимыми? Как это им удаётся?

— Обыкновенно, — пожал плечами доктор. — Демократическим путём.

— Ага. Значит, там демократы, а не шпана. Но демократы живут по закону — так вы нам говорите? Ты ведь тоже демократ? А по закону... я тебе сейчас прочитаю закон...

Адольф поднёс листок бумаги к глазам — засиженная мухами лампочка под потолком светила скуповато.

— Закон СССР... Вступил в силу 3 апреля 1990 года. Называется: “О порядке выхода союзной республики из состава СССР”. Читаю тебе: “Решение о выходе должно быть принято на республиканском референдуме, и за это должны проголосовать две трети всех избирателей”. Понял? Две трети! “По каждой автономии и территории компактного проживания национальностей итоги подводятся отдельно”. Если две трети согласны разделить, Съезд народных депутатов СССР объявляет пятилетний переходный период.

Но это не всё. В последний год переходного периода по требованию одной десятой части избирателей может быть проведён повторный референдум.

На нём надо снова получить две трети голосов за выход. Вот тогда — жалте брицца. Только приготовьте деньги. В законе написано: “Желающие переехать в Советский Союз из отделивающейся республики могут сделать это за счёт республиканского бюджета”.

— Да зачем мне это знать, если народ решил?

— Погоди, парень. Ты вроде демократ, а рассуждаешь, как шпана. Эт какой народ решил? Две трети населения? Нет. Маленькая часть националов. А остальные не народ? Там половина — русские... украинцы... другие люди. И националы не все хотят отделяться. У меня сестра живёт под Ригой. Муж у неё латыш. Их спросили?

— Какой смысл сейчас говорить об этом, Адольф? — вступился за доктора Слепцов. — Они объявили о независимости. Договариваются с правительствами других стран о прямых поставках товаров, топлива — зима ведь.

— Вы кто такие — я не пойму. Грамотные или пеньки? Договариваются... Да пусть говорят хоть... с этими... как они... с марсианами! Горбачёв — он кто? Главный в нашей стране или говно? Останови на границе Советского Союза поезд, посади самолёт с этим грузом не у прибалтов, а в Мордовии. Он чего натворил — этот гондон штопаный? Сейчас националы везде захватят власть...

— Уже захватили, — сумрачно бросил Нестеренко.

— ...русских начнут резать, выгонять из домов, а он про демократию трещит. Ты сначала порядок наведи! Придави шпану! Принял закон — заставь его выполнять.

— Как заставить, если народ встаёт стеной? — снова подал голос Карабанов.

— Это не народ...

— А кто ж, по-твоему?

— Шпана. В каждой нации она есть. Немного, но вонючая. Очень хочет власти... и ещё больше — денег. А народ — там... позади шпаны. Живёт себе и не замечает, какой у соседа нос. Вот кого надо спрашивать.

Помощники егеря, судя по всему, были солидарны с Адольфом. Красноглазый Николай то и дело кивал, хмурился, а Валерка попробовал даже вставить какое-то слово, но егерь коротко махнул на него рукой, и тот отстал, положив узкую голову на кулак.

— Теперь что ж, войска посылать? — спросил Слепцов.

— Не хотят добром... по закону... то надо брать палку. А как ещё народ защитит от шпаны?

— В Тбилиси попробовали палкой, — сурово произнёс Карабанов. — В апреле 89-го. После этого Грузия ушла.

И, не скрывая ненависти, продолжал:

— На мирную, тихую демонстрацию налетели убийцы в погонах. С сапёрными лопатками... рубили женщин и детей.

Покосился на Волкова.

— Десантники, между прочим. Кто после этого захочет жить в такой тюрьме народов?

— Ты сам-то хоть пробовал разобраться, что там было? — спросил учитель, трогая кончик уса и тем самым пытаясь справиться с раздражением.

— Зачем? Все газеты рассказали в подробностях. Депутатская комиссия ездила туда. До какого зверства надо было дойти? Десантник гнался за старушкой два километра... Догнал и зарубил лопаткой.

— Неужели ты серьёзно говоришь об этом? — с изумлением спросил Волков. — Веришь в сказку про бабку?

— А почему нет, если приказали убивать?

— Видать, старушка была мастер спорта по бегу, а десантник гнался за ней ползком, — засмеялся Нестеренко.

— Какие ж вы брехливые, демократы! — поморщился Адольф, и большую красную физиономию его искривила гримаса брезгливости.

— И вот так обо всех тбилиских событиях, Адольф, — кивнул Волков егерю. — Я им рассказывал. Моя Ташка туда ездила. Сначала я ей не поверил.

Он повернулся к доктору.

— Я верил больше тебе. И газетам, на которые ты ссылался... “Самые честные! Неподкупные!” Потом понял: там была махровая ложь... Ну, теперь-то ясно — им давали такую установку... Обелять негодяев и мазать дерьмом невиновных. Наталья привезла километры магнитофонных записей... Письменные свидетельства очевидцев... участников событий. Написала большую статью — как было на самом деле. Главный редактор сказал: ещё раз так напишешь — выгоню.

Волков встал, шагнул туда-сюда по избе, чтобы успокоиться.

— Потом я прочитал подробное заключение Генеральной прокуратуры — жена принесла. А вскоре ко мне заехал мой армейский друг — Саша Головацкий. Я после армии пошёл в университет, он — в военное училище. Сейчас, может, подполковник. Тогда, в апреле 89-го, он был майором, в Тбилиси попал как раз перед событиями. Выходил с последними частями из Афгана. Две недели дали отдохнуть — и командировка в Грузию. Он мне много чего рассказал... Майор ГРУ*, сами понимаете. Заваруху организовали несколько человек. Всех не помню — Чантурия, Церетели, а главный — Гамсахурдия**. — Он сейчас командует там в Верховном Совете. Эти люди создали каждый свою партию... Ну, какие они партии? Во всех вместе взятых было меньше трёх тысяч человек. Как говорит Адольф: шпана. Но вонючая. Стали разжигать народ. “Долой Советскую власть!”, “Выход из состава СССР!” А главное — “Грузия — для грузин!” Нисколько не прячась, орали, что нужно выгнать из Грузии абхазов, осетин, азербайджанцев, армян, греков, русских. Уничтожить автономные образования в Аджарии, Абхазии, Южной Осетии. Люди заволновались. Известно ведь — экономические трудности не так легко возбуждают народ, как это происходит, если задеть национальную струну. Там — как из контрабаса извлечь звук — пальцы разорвёшь. А национальные дела даже не Пашина скрипка. Достаточно дыхнуть на струну, и она зазвенит тревожно.

После открытых шовинистических речей Гамсахурдии — и заметьте: никто его не арестовал, не посадил, — 18 марта в абхазском селе Лыхны собрался 30-тысячный митинг. Люди потребовали придать своей автономной республике статус союзной и войти в состав СССР. Грузию-то националисты обещали из Союза вывести, а что будет потом, абхазы уже услышали. В ответ на решение взбудораженных абхазов Гамсахурдия собрался их громить. Расправу назначили на 9 апреля. Но сначала со своими архаровцами раскопчегарили митинг в Тбилиси. До этого они уже пробовали насильно останавливать работу заводов, срывали занятия в школах и вузах, блокировали движение городского транспорта, перекрывали шоссе и железную дорогу. Перед самым 9 апреля толпой из нескольких тысяч человек они пошли к металлургическому заводу в Рустави — задумали остановить его.

— Ты понимаешь, что такое остановить металлургический завод? — воскликнул Нестеренко. — Это ж катастрофа! Там непрерывное производство.

— Догадываюсь... Но рабочие их не пустили. А митинг в Тбилиси возле Дома правительства уже выходил из берегов, становился ожесточённым. Националисты выступали по двадцать-тридцать раз в день. В Генпрокуратуре есть магнитофонные записи этих выступлений, их расшифровка. Наталья получила копии. Я сам читал. Один кричит: “В Грузию должны войти армейские подразделения ООН... Грузия должна войти в НАТО...” Другой призывает: “Не пожалеем пролитой крови...” Как вы понимаете, конечно, не своей... Саша мне показывал фотографии лозунгов: “Долой, советская власть!”, “Русские! Вон из Грузии!”, “Долой фашистскую армию!”, “Давить русских!”

— Ну, что я вам сказал! — заволновался Адольф. Волков согласно покивал, снова взялся закручивать ус.

* ГРУ — Главное разведывательное управление Генерального Штаба.

** Звиад Гамсахурдия — грузинский националист и шовинист. Один из организаторов выхода Грузии из СССР. Готовил ликвидацию автономных образований в Грузии — Абхазии, Аджарии, Юго-Осетинской области. 26 мая 1991 года избран президентом страны. В январе 1992-го отстранён от власти вооружённой оппозицией — своими бывшими соратниками. Убит 31 декабря 1993 года (прим. авт.).

— Местные власти были в разброде. То и дело связывались с Москвой. Оттуда тоже невнятное. Вы же знаете горбачёвские призывы: “Не надо драматизировать ситуацию”. Наконец, решили вытеснить демонстрантов от Дома правительства ОМОНОм и солдатами. Вытеснить! Живой цепью! Но гамсахурдиям нужна была кровь. Они подготовили десятки боевиков. Те вооружились цепями, железными прутьями, досками. Достали противогазы, бутылки с зажигательной смесью.

Перед началом операции к митингующим обратился католикос Грузии. Он попросил всех разойтись, чтобы не допустить трагедии. Но один из лидеров-националистов вырвал у него микрофон и призвал митингующих сесть на асфальт. “Сидячих бить не будут”. Вы представляете, что происходит, когда на толпу надвигается цепь омоновцев со щитами? Толпа выдавливается, как сметана из дырявого пакета. В разные стороны, куда можно отойти. На площадь выходит несколько улиц. Но большинство из них националисты специально перегородили. Поставили самосвалы с песком и спустили шины. Подогнали автобусы, грузовики с бетонными блоками. Остался выход на проспект. Я тебе, Сергей, могу показать видеоплётку — Ташка сделала копию. На плётке видно, как сзади толпы выстраиваются молодые, спортивной выправки мужики с палками и закрывают людям возможность уйти. А впереди, перед цепью — давка. А в середине, возле ступенек к Дому правительства сидят люди. Женщины. Их усадили негодяи — сидячих, мол, не бьют. Толпу сзади держала одна часть боевиков. Другая начала драку с солдатами и омоновцами. Их били железными прутьями, камнями, резали ножами, кололи заточками. Как бы ты реагировал, когда в твоего товарища всаживают нож?

— Он бы помог... Другому товарищу, — съязвил Нестеренко.

— Перестань! — одёрнул его Волков. — Неумно.

И, немного помолчав, с волнением заговорил:

— Те, кто закрывали выходы с площади, понимали, что произойдёт. Вот они и есть преступники... настоящие виновники тбилисской трагедии! Наталья сфотографировала показания участников. Люди, отступающие перед цепью солдат, пошли по сидящим и упавшим. Все погибшие, а там их было, кажется, восемнадцать, оказались задавленными. Только один мужик ударился головой об асфальт. Ну, этот хотел показать десантнику приёмё самбо... Я читал хвастливые показания тех, кто бил солдат и омоновцев. Один заявил следствию — его я запомнил особенно: попался бы он мне! — “Я лично разломал скамейку и с этим колом пошёл крушить солдатские головы. Ребята расправились с солдатами. Шла драка насмерть”. Военных тоже можно понять. У омоновцев щиты разбиты. Морды в крови. Во всех летят булыжники, куски плитки от ступенек. Десантники отбивались лопатками, как теннисными ракетками... А на ступеньках, выше толпы, среди организаторов, стояли московские фотокорреспонденты и люди с видеокамерами. Их пригласили заранее...

Потом писали, что солдаты многих убили сапёрными лопатками. Да ты же сам сейчас сказал об этом, Карабас! Вот люди тебя слушают и думают: значит, правда. Если тако-о-й человек говорит! Однако следствие установило: погибших от лопаток не оказалось вообще. Ни од-но-го! — по слогам произнёс Волков. — Четыре человека получили раны... Лёгкие...

— Я не верю твоей версии! — враждебно заявил доктор. — Это версия одной стороны. Убийц...

— Вот так же говорили те, кто не хотел услышать правды. Кто специально выворачивал шубу наизнанку. Лгали, не боясь наказания. Саша рассказывал, как они отлавливали телеведущего Политовского. Тот встречался только с националистами... с теми, кого надо было судить. Сумели перехватить его в аэропорту. Просили, требовали: выслушайте нас тоже. Мы были здесь... Всё видели... Пообещал... и увильнул, гадёныш. Потом целый час рассказывал по телевизору всей стране о сапёрных лопатках и тысячных жертвах. А когда следователи стали изучать документы — вот где открылось кино! Многих, вроде бы пострадавших, в поликлиниках регистрировали по четыре, по пять и даже по шесть раз. Каждого! Для количества. Сотни две записали на выдуманные адреса.

А насмерть отравленные газом? Я уж не помню, сколько их называли. И в газетах, и в депутатской комиссии... Генпрокуратура собрала всё, что можно. Даже свидетельства иностранных специалистов. И что оказалось? Тоже — ни одного! Как с лопатками. Для того чтоб человек помер от миллицейского газа, его надо посадить в глухую комнату в половину нашей избы, заполнить её газом до густоты, — как туман на озере, — и держать там бедолагу четверо суток. Ты где-нибудь об этом читал? Хоть один человек сказал про это по телевизору? Я всё ждал, когда Горбачёв назовёт вещи своими именами. Расскажет правду. А он — снова в кусты. Решил сам хорошо выглядеть, а козлом отпущения сделать армию... генерала Родионова... Ты вот тоже с теми... Получается, на другой стороне баррикад...

Учитель расстроено замолчал. Ему нелегко было вслух признать очевидную вещь: они с Карабановым становятся противниками. В избе наступила гнетущая тишина. Даже храп Фетисова смолк. Видимо, товаровед повернулся на удобный бок и теперь только посапывал. Обычно он храпел надрывно, с ругательствами и переживаниями, и если на какой-нибудь охотничьей базе была возможность, товарищи отправляли его спать в отдельную комнату. “Чёрт-те што, — ворчал Нестеренко. — Как в таком маленьком теле помещается целый оркестр?”

— Ты не веришь моим словам, — сказал Волков, — а я не верю депутатской комиссии. Сначала поверил. Переживал. Но когда Наталья стала показывать документы, был поражён. Она после Тбилиси вернулась к национальным делам. Полезла в карабахскую свару. Я её удерживал. В редакции косятся. Говорят: не туда копаешь. Но ты знаешь мою Ташку... Брестская крепость... Будет стоять до последнего. Пока концы не найдёт. Говорит мне: хочу понять, как народы, столетиями жившие бок о бок, толкнули на убийство друг друга? Кто виноват?

— Ну, и кто? — возрился на учителя Павел.

— Горбачёв.

— Здравс-сьте! — с сарказмом бросил Карабанов. — И ты туда же!

— Да. Горбачёв. Где лично он, где свита, которую собрал. Уж ты-то, как доктор, знаешь: если болезнь не придушить в самом зародыше, погибнет весь организм. С чего там началось? С писем армян из Нагорно-Карабахской области — она входит в Азербайджан, — чтобы её передали Армении. Говорят, после революции такая идея тоже бродила, но её вместе с носителями утихомирили, и она надолго заглохла. А тут — перестройка, всё можно, почему не попробовать?

Сначала писали одиночки... Как их назвала Наталья: национал-активисты. А в августе 87-го в Москву ушла петиция с десятками тысяч подписей. Ясно же — не сами по себе люди собрались. Выстроились в очередь... требовали бумагу... ручку... С ними очень активно поработали. Организовали сбор, давили на колеблющихся, пугали нежелающих. В области всего 145 тысяч армян! Включая грудных детей. А тут десятки тысяч подписались. Азербайджанцы сперва на это не обращали большого внимания. Если народы территориально вкраплены друг в друга, трения всегда бывают. Даже после начала синхронных митингов и шествий — в Ереване и Карабахе — развитие событий можно было остановить. Но когда уже областной Совет принял решение выйти из Азербайджана и войти в состав Армении, загудели и на той стороне. Стали требовать от властей навести порядок. Активизировались националисты. Шпана, как говорит Адольф.

Надо сказать, армяне действовали напористей. Подключали кого только можно. Своих — за границей, а их диаспора, наверно, не меньше еврейской. Своих — здесь. Советник Горбачёва — какая-то у него фамилия, натошак не выговоришь, — стал везде писать и говорить, что Карабах надо вернуть матери-родине. Значит, Армении. В доказательство — вроде как исторические примеры: что было тыщу лет назад, что — пятьсот. Ну, если такой дорогой все пойдут, не останется ни одного целого государства. Американцев первых надо выселить — заняли чужие земли. Не получая от властей, как местных, так и союзных, разъяснений и наказаний, — да-да, ты не кривись, Карабас! наказания тоже могли остудить — те и другие провокаторы с каж-

дым днём всё опасней раскачивали народ. На первый митинг в азербайджанском Сумгаите пришло человек сорок. Им красочно рассказали, как в Армении и Карабахе убивают мужчин и насиляют азербайджанских женщин. На следующий день собралось уже несколько тысяч возбуждённых людей. Накаляя толпу, организаторы через мегафон выкрикивали проклятья армянам. Баба, второй секретарь горкома партии, вместо того чтоб гасить разгорающийся пожар, плеснула керосина в огонь. Мы требуем, орала она, чтобы армяне покинули Азербайджан.

Ещё через день — опять митинг. На нём народу ещё больше. Когда он кончился, другой секретарь этого же Сумгаитского горкома партии — мужик — поднял азербайджанский флаг и повёл толпу на поиски армян. Это как вам? Да их надо было немедленно арестовать и тут же судить.

— А бабу посадить к мужикам — армянам, — ляпнул Нестеренко. Волков строго, по-учительски, глянул на него.

— Ты не Вольт, Андрей. Ты чёрт.

И продолжал:

— Армяне накаляли обстановку не меньше. Если не больше. Один из лидеров комитета “Карабах” на митинге в Ереване призвал создать отряды, задача которых — изгонять азербайджанцев. “Впервые за эти десятилетия, — кричал он, — нам предоставлена уникальная возможность очистить Армению”. Кем предоставлена?

— Ясно кем! — снова вклинился Нестеренко. — Горбачёвым.

Но Волков на этот раз даже не посмотрел в его сторону.

— Я вам назвал несколько фактов. А их сотни. Националисты-провокаторы действовали в открытую и безнаказанно. Безнаказанно! Раскачивали два народа, апеллируя к самым низменным человеческим инстинктам. Взырались на гребни растущих волн гнева, делали всё, чтобы столкнуть их. Про себя-то знали: перед тем как волны схлестнутся, они успеют нырнуть вниз. На безопасное дно. Они готовы проливать кровь. Но, как и в Тбилиси, не свою.

Им удалось... В азербайджанском Сумгаите, где по общежитиям и митингам ходили, как я прочитал у Натальи в показаниях рабочих алюминиевого завода, “странного вида нездешние люди”, начался погром.

И опять же... Если не сумели жёстко предотвратить его, можно было уменьшить число жертв. Некоторые азербайджанцы помогали армянам... Спасали целые семьи. Вот суть народа! А в Москве чесались. С большим опозданием перебросили дивизию внутренних войск. Увидев на месте, что творится, комдив запросил разрешения на адекватные обстановке меры. Специально обученные солдаты могли утихомирить погромщиков в считанные часы. Но ему приказали не применять силу и не забывать, что участники погромов — тоже советские люди. Слова — один в один — из горбачёвского чемодана.

Волков подошёл к столу, взял свою кружку с чаем.

— В этом же духе действовали и дальше. Из нескольких тысяч погромщиков к суду привлекли 94 человека. Представляете? Из тысяч! И то рядовых участников — юнцов. Вместо общего судебного процесса дело разбили на 80 эпизодов. Рассматривали в разных городах. Ни одного подстрекателя из выступавших на митингах, ни одного националиста-идеолога не арестовали. К чему привела горбачёвская трусость, вы теперь видите. Двести тысяч азербайджанцев выгнали из Армении. Люди бросили дома, годами нажитое добро. Что удалось взять, с тем и бежали. А навстречу — армянский поток горя. Этим ещё больше — поскольку в Азербайджане их больше жило. По всей границе между республиками идёт стрельба. Что будет завтра, мы с вами не знаем.

— А ты говоришь, — уставил палец в доктора егеря, — не надо палку. Свободу всем и каждому. Тогда зачем нужна такая власть, если она не может защитить народ от шпаны?

И, прищурив маленькие глазки, ядовито передразнил:

— Демокра-а-тия...

— Ты прав, Адольф. Власть должна иметь твёрдую руку, — согласился с егерем Нестеренко. — Путь к демократии в такой многонациональной стране, как наша, иногда должен проходить через площадь Тяньаньмэнь.

— Это ещё где?

— В Китае. Главная площадь Пекина. Там хотели устроить такой же бардак, как у нас. Вышли студенты... демократы. Кричали: “Долой социализм!” Власти их предупреджали. Требовали разойтись. Те — ноль внимания. Тогда пустили войска... танки.

— Против безоружной молодёжи, — с осуждением сказал доктор.

— Студенты, — усмехнулся Слепцов. — Эти “безоружные” студенты ещё на подходе к площади подбили несколько танков. Погибли военные. Молодые ребята...

Отец рассказывал ему некоторые подробности тех событий. Из разных источников было известно, что уже первыми демонстрациями, которые начались в апреле 1989 года, руководили подготовленные люди. Успех “бархатных революций” в Восточной Европе, порождённых советской перестройкой, пробудил диссидентские импульсы в Китае. Небольшие поначалу группы, видя растерянность властей, стали быстро разрастаться в многотысячные митинги и демонстрации. Поскольку представители власти пробовали разрядить обстановку путём переговоров, организаторы манифестаций решили, что власть совсем слабеет, и начали усиливать давление. Требования выдвигались такие же, как в Советском Союзе и социалистических странах Восточной Европы: демократические преобразования, глубокие перемены в политической системе.

Не получая противодействия, демонстрации ширились, призывы становились всё радикальнее. 15 мая это увидел сам Горбачёв, который прибыл в Китай с визитом.

30 мая власти попробовали мирно вытеснить многотысячную толпу демонстрантов с площади Тяньаньмэнь, но люди стояли стеной, и экипажи бронетехники, не имея приказа действовать решительно, остановились.

3 июня 1989 года на площади собралось полмиллиона демонстрантов. К интеллигенции и студентам добавились крестьяне из ближайших районов, безработная молодёжь, которой к тому времени в Пекине скопилось около миллиона человек. В толпе работали агенты ЦРУ, тайваньских спецслужб. Как отмечали иностранные обозреватели, они раздавали деньги. Специалисты по организации массовых волнений накаляли толпу. Руководители страны приняли решение: в данной ситуации выход один — применить силу. Против выступил Генеральный секретарь Компартии Китая Чжао Цзыян, который лично выходил к митингующим с уговорами.

В ночь с 3 на 4 июня на площадь двинулись войска и танки. Были жертвы. “Бархатная революция” в Китае не удалась. Генерального секретаря ЦК Компартии сняли со всех постов и отправили под домашний арест.

Вспомнив сейчас рассказ отца об этом, Павел пожалел, что невольно стал союзником Андрея. “Твердолобые” могут так же поступить с Горбачёвым. Тогда, может, действительно есть смысл поддерживать Ельцина, как это делает Карабанов, поскольку тот в борьбе с Горбачёвым за власть ещё резвее разрушает систему.

— Значит, если б я крикнул: “Долой социализм!” — меня тоже под танки? — спросил он Нестеренко.

— Для него идея дороже человеческой жизни, — опередив растерявшегося от неожиданного вопроса электрика, заявил Карабанов. — Социализм... коммунизм... Какие-то идейные бредни. Тупиковый путь в сторону от магистральной дороги человечества... Аппендикс, который наконец-то воспалился... Ампутировать его надо... А вы вцепились... сами не уходите и другим не даёте уйти. Социализм... Он никогда и нигде больше не возродится. Эксперименту конец. Идея ваша мертва... хотя ещё огрызается. Но, как говорил Достоевский, ни одна самая лучшая идея не стоит слезы ребёнка.

— А человеческой крови? — раздался от печки голос Волкова, который снова достал из топки уголёк, чтобы прикурить, да так и застыл с ним, дымящимся на поддоне совка. Эти слова, услышанные им впервые года два назад, показались тогда какими-то возвышенными и пронзительно чистыми. Сам он их у Достоевского не встречал, да и читал-то Волков странного писателя — таким он ему показался после нескольких произведений — весьма неохотно.

Однако слова эти, как серебристые колокольчики на рыбалке, вызванивали какие-то надежды, в которые хотелось верить и к которым надо было стремиться.

Правда, когда с митингов и экранов ими стали беспощадно хлестать всю историю страны, представляя её жестокой и бесчеловечной, учитель настроился: “Как же вас понимать? — думал он о тех, кто произносил постулат нервного писателя и называл себя демократом. — Считаете трагедией единственную слезу обиженного ребёнка и одновременно восторгаетесь людьми, устраивающими кровавые погромы, в которых даже не плачут, а гибнут тысячи детей”.

— Ты про какую кровь, Володя? Что имеешь в виду? — спросил доктор.

— Двойную мораль. Идея социализма, как я понял, не стоит слезами ребёнка. А идея национализма? За неё, по-твоему, можно платить слезами и кровью? Когда азербайджанцы бежали через горы из Армении, ты видел по телевизору замёрзших людей? А детей убитых видел? Армянских? Азербайджанских? Или на этих детей ваша мораль не распространяется? Вы поддерживаете националиста Гамсахурдия? А что он целым народам отказывает в праве на существование — абхазам, осетинам — нету, заявляет таких народов, есть только грузины, других в Грузии не должно быть — это-то как?

— Это — фашизм! — убеждённо сказал Нестеренко. — Всякий, кто говорит, что его народ лучше других... что он самый умный... только ему компот, а остальным помой — это фашист. Ничем не лучше немецких. Да и слова-то вон какие похожие: нацист — националист.

Учитель, наконец, прикурил, бросил уголёк обратно в топку.

— Северная Осетия и Абхазия не хотят выходить из СССР. Они готовы отделиться от Грузии и остаться в Союзе. А Гамсахурдия хочет силой оставить их. Вроде как отстаивает территориальную целостность Грузии. Тогда почему власть Союза не имеет права тоже силой сохранять эту самую целостность?

— Не та власть сейчас в Союзе, — сказал Валерка, глядя на Адольфа и как бы ища его согласия.

— Эт точно, — покивал тот. — Не повезло нам с правителем.

В этот момент из сеней послышалось грозное рычанье Пирата. Тут же залиvisto откликнулась Тайга.

— Што такое? — вскочил Нестеренко. Николай с Валеркой тоже встали. Проснулся Фетисов. Сел на матрасе.

— Уже утро? Иль вы не ложились?

Адольф быстро снял со стены ружьё и вышел в сени. Слышно было, как хлопнула входная дверь на улицу. Через некоторое время егерь вернулся.

— Волк, наверно, близко прошёл. Разоряются деревни... исчезают. Волкам некого бояться. В брошенном селении всегда чё-нибудь найдётся. Среди зверей тоже есть люди. Сображают...

— Зато среди людей появились звери, — с грустью заметил Волков. От того радостного душевного настроения, с которым приехали вчера и с каким начинался сегодняшний день, ничего не осталось. Раздражение и дух какой-то враждебности, казалось, затронули всех. Кроме уснувшего Фетисова, чей громкий храп напомнил людям о времени.

— Давайте-ка спать, — пошёл к кроватям Адольф. Одну со вчерашнего вечера занял он. Две других достались Карабанову и Слепцову. Инженер-электрик и учитель без каких-либо претензий легли спать на матрасах.

Сейчас посередине рябого озера снова храпел Фетисов. Нестеренко, проходя мимо, толкнул его ногой. Товаровед всхлипнул в храпе, повернулся на бок и затих.

— Быстрее укладывайся, — сказал Андрей Волкову, накрываясь полубубком. — Пока у оркестра перерыв.

Глава четырнадцатая

В остывшей темноте проснулись чуть ли не все разом. Валерка встал первым, зажёл свет и крикнул, щурясь:

— Спать приехали?

На голове его, похоже, ночью кто-то сидел. Лицо сплюснулось сильнее вчерашнего. Жёсткие волосы дыбились вулканом. Глянув на него, Волков вспомнил, как в прошлый приезд Адольф уверял их, что из волос Валерки они делают кивочки для зимних удочек. “Вроде проволоки”, — говорил тот, и никто поначалу не заметил хитрой смешинки в маленьких глазках егеря.

Больше по надобности, чем по желанию, пожевали кто что и, не мешкая, стали выходить во двор.

Рассвело ещё не совсем. Близкий снег синел, дальше был серый, но звёзды поблескивали всё слабее, как будто быстро уносились от земли в глубины неба.

— Значит, обстановка такая... рисую обстановку, — придавленным голосом говорил егерь.

Согнувшись в три погибели, он искал карабин на ошейнике крупного Пирата и никак не мог найти. Валерка уже держал на поводке свою лайку Тайгу.

— Пойдём в такое место, где кабаны обязательно есть, — продолжал Адольф снизу. Фуфайка задралась, в сумерках под ней забелела рубашка. Наконец, егерь прицепил поводок и разогнулся.

— С болота будем заходить? — спросил красноглазый Николай.

— Там глянем. Война план покажет, — повторил Адольф, похоже, нравящееся ему выражение.

Цепочка охотников быстро заскользила к чернеющему метрах в трехстах от избы старому амбару. За ним начинался уклон к полю, которое вдалеке мрачной дугой обжимал лес. Вчера охотники за весь день не встретили ни одной свежей кабаньей тропы. Сначала зима была так себе, не поймешь, куда повернёт. Первый снег выпал без холодов, на сырую землю. После этого надолго установились ясные, солнечные морозные дни. Но наконец, снега повалили, и насыпало их к концу сезона столько, что, оступившись с лыж, человек кое-где в лесу проваливался по пояс. В таком пуху даже лоси не бежали — плыли. А кабаны, уйдя в самую гущу непролазного ельника, растапывали там мягкий снег, подрывали корни и только ночами, да и то не всегда, пробивались в новое, такое же глухое место или на картофельные поля. И хотя с первых дней января установились сверкающе-голубые, звонкие от мороза дни, глубокий снег — эта кабанья погибель — держал зверей в плену.

Ломая путь между поваленными деревьями, охотники углубились в лес. Вдруг Адольф, шедший впереди, замер.

— Вход есть, — изменившимся голосом тихо сообщил он. — Будем делать загон. Кто у вас командир-то?

Карабанов кивком головы показал на Волкова.

— Мы втроем побежим в обхват, а вы — по нашей лыжне. Не гонитесь. Замерзните стоять. Нам круг делать большой. И вон оттуда (красной пятерней он показал в глубины леса) пойдём на вас с собаками. А вы расставьте, где я лыжей кресты сделаю. Одного назад надо вернуть — к полю ближе.

Лес быстро наливался светом. Тронутый солнцем снег на вершинах елей порозовел.

— Кроме как на вас, им некуда выйти. За вашей спиной лес долгий. Густая сеча. Такая, как впереди. Тут вроде перешейки. Они туда-суда через эту перешейку ходят — в сечу здесь самый короткий путь. А там болото — мы сейчас краем пройдем. С другой стороны — поле.

Неожиданно глазки егеря язвительно блеснули:

— Ну, смотрите у меня. Промажьте кто... скворцы-говорцы.

К полю Владимир вернул Фетисова. На следу поставил Слещова. Себе взял следующий номер, а на два последующих отправил Карабанова и Нестеренко.

Егерь вытоптал крест возле тесного гурточка усыпанных ёлочек. Но Волкову место не понравилось. Мелькнуло смутное опасенье, что здесь, в случае чего, только запутаешься, а не спрячешься, и он передвинулся на несколько метров назад, к огромной ели. На весь волковский рост ствол её был гладок.

И только сразу над головой охотника начинались мощные нижние ветки. Волков поудобней утоптал снег, огляделся из-под густого навеса. Справа от него заряжал ружьё Карабанов. Дальше, под небольшой ёлкой, замер Нестеренко.

Но самое лучшее место было у Слепцова. По такому снегу зверь обязательно должен пойти своим следом, а на нём стоял жилисто-сухощавый, с острым взглядом запавших глаз экономист, который не знал промашки. Волков передёрнул плечами от зависти, но тут вспомнил, что прошлый раз сам никому не дал поднять ружья. Странная тогда получилась охота. Не успели отойти от деревни, как пущенные вперёд собаки залаяли в ближайшем осиннике. Адольф сорвался с шага, бешено замахал руками: “Отрезать надо! Уйдут в большой лес!” — и понесся параллельно ходу лосей. Все бросились за ним, однако вскоре Адольф оторвался, и лишь один Волков — скрывалась давняя армейская тренированность (“десантник сначала бежит, сколько может, а потом — сколько нужно!”) — старался догнать егеря, хотя и от него тот уходил всё дальше. Трое лосей бежали редким осинником. Волков видел их. Вдруг они повернули к охотнику, и он окаменел на полушаге, где его застал момент. Даже большого дерева не было рядом. Только две тонких осинки оказались за спиной. По глубокому снегу лоси двигались не быстро. За ними словно плыли собаки, одной лишь яростью выталкивая себя из пуха. Волков медленно поднял ружьё, подпуская переднего зверя, и готовый в любую секунду, если лось увидит его и свернёт, нажать курки. Но крупная корова не замечала стоящего уже в сорока метрах от неё охотника. Пуля вошла в грудь. Корова боком метнулась к осиннику. Волков выстрелил ей вслед. Мгновенно перезарядил ружьё и послал дуплет в третьего зверя, потому что второй лось после выстрела сразу же свернул за коровой. А та была уже в осиннике, но не бежала, а стояла, ворочая головой. Волков снова вогнал патроны и помчал к ней. Он вдруг засомневался в первом выстреле и теперь решил хоть издалека дать дуплет, если корова тронется с места. Но она не двинулась. Волков не пробежал и половины пути — лосиха упала. Собаки налетели на неё сзади, вцепились зубами в шерсть. Корова силится подняться, однако последние силы быстро покидали её. Волков замахнулся на собак. Тайга отскочила с клоком шерсти в зубах, а Пират, рыча, двинулся на охотника. Тот вдруг остервенился, визгливо вскрикнул, словно терзали его, а не умирающего зверя, и, не помня себя, вскинул ружьё на собаку. Но в этот момент краем глаза увидел, что, огибая его, из осинника по чистому полю бежит один из оставшихся лосей. Он повернулся, двинул стволы ружья на самую оконечность головы и выстрелил. Лося как будто дернули за передние ноги назад и одновременно ткнули головой к низу.

Это был прекрасный выстрел, но, вспомнив о нём сейчас, Волков вдруг опять, как в прошлый раз, почувствовал впервые появившуюся тогда пронзительную жалость к загубленной жизни. Зависти к Слепцову уже не было, она истаяла, как горсть снега в воде. Владимир ещё раз, теперь не с поворотом головы, а только движением глаз, обозрел цепь. Люди замерли на местах. Стояла стеклянная морозная тишь. Учитель слегка наклонился вперёд, перенёс центр тяжести на левую ногу и приоткрыл рот. Мысленно усмехнулся: навыки разведчика-спецназовца не забывались. Когда надо прослушать обстановку, а подручных средств нет: сухого бревна, палки, вкопанной в землю, можно было сделать, как он сейчас. Зубы, если полуоткрыт рот, становятся дополнительным проводником звука.

Волков с грустной нежностью вспомнил армейское время, старшину Губанова из донских казаков, которого все они поначалу возненавидели. Глухим баском тот постоянно им внушал: “Оставьте свои заповеди десантника на КПИ али сбережите их для девушек. “Десантник должен стрелять, как ковбой, и бегать, как его лошадь”. Красиво, но не для нас. Разведчик-диверсант — это вам пять десантников в одном. Надо схомутать ковбоя, взгромоздить на горб его лошадь и пройти незамеченным через всю ихнюю степу... Прерия называется”.

Владимир до сих пор помнил, как надо бесшумно ходить в лесу или по мелкой воде, как читать следы (примятая трава направлена в сторону дви-

жения), как маскироваться, листья каких деревьев сколько времени сохраняют летом свой цвет (дуб, берёза, липа — до двух дней; осина, орешник чернеют и свёртываются через несколько часов). Дольше всего — до пятнадцати дней, сохраняют естественный цвет камыш, осока, мох. Из деревьев — сосна и ель. “Хорошо учила Советская Армия, — подумал он. — А теперь её топчут на каждом карабановском митинге”.

От этой мысли ему стало беспокойно, захотелось, как в разведке, стать незаметнее. Волков согнул еловую лапу, намереваясь без шума оторвать несколько веток, чтобы прикрыть ими светло-рыжую шапку. Но внезапно раздался треск. Слещов быстро глянул вправо, а Карабанов, поймав волковский взгляд, показал ему кулак. Владимир смущённо улыбнулся и успокаивающе качнул рукой. В этот момент со стороны загонщиков донёсся яростный собачий лай. Волков мгновенно напрягся. Теперь это был сильный настороженный охотник. Всем существом устремлённый в глубину леса, где его сообщники — собаки — обнаружили дикого зверя.

* * *

Но кабан был не один. В ельнике стояло стадо. Матёрый секач, кабан-двухлеток, такая же по возрасту свинья и трое поросят перешли ночью со старого места на новое. Впрочем, и это место было для стада не новым. Здесь кабаны кормились несколько дней назад и ушли, когда почувствовали, что голод уже не утолить. Теперь тот же голод, от которого взрослые всё более свирепели и раздражались, а малыши — слабели, пригнал стадо назад.

Такая пугающе трудная зима была неизвестна даже секачу. Он опускал морду, чуть поворачивал её набок и поддевал клыками перемешанную со снегом землю. Ничего не попадалось. Следом ходили поросята, тыкались носами в следы секача и время от времени тихо взвизгивали.

В густом ельнике становилось всё светлее, и всё яростней рыл чёрно-белое месиво голодный кабан. Зло всхрюкивали двухлеток и свинья. Когда совсем рассвело, секач остановился, последний раз рыкнул, и все замолкли, продолжая, тем не менее, искать пищу. Теперь до сумерек было опасно подавать голос.

Так прошло некоторое время. Вдруг взрослые кабаны услышали вдалеке треск. Вспугнутые, они разом тревожно всхрюкнули, и этого было достаточно, чтобы их услышала собака. С накаляющимися от ярости лаем она бросилась в сторону стада. За ней понеслась другая.

Взрослые звери повернули морды на лай, и секач клацнул клыками. Однако через мгновение в ельнике началось замешательство. Двухлеток и свинья уже один раз уходили от собак, и уводил их секач. Тогда вожак также встал против лая и страшно взревел. Но вдруг грозный рык его надломился, кабан попятился, и молодёжь почувствовала в лае маленьких яростных зверей опасность. А кто, как не секач, десятки раз показывал, что от опасности надо спасаться бегом. Теперешний лай был ещё неистовей прежнего. Двухлеток и свинья повернулись. Перед ними была тропа, по которой они пришли ночью. Но там, куда она вела, звери недавно слышали треск. Взбив копытами землю, двое взрослых прыгнули в снежную нетронутость и побежали к болоту. За ними, утопая в снегу, бросились поросята.

Секач тоже почувствовал опасность в приближающемся лае. Но не собаки пугали его. Взыбивший загром, разъярённый, он был страшен. Броситься на них, и враги отбегут. Однако за ними кабан слышал одинокий голос, а эту опасность он уже встречал, когда однажды вслед за криком что-то громко лопнуло, и большая свинья из их стада задёргалась на снегу. Зверь повернулся, и когда за деревьями мелькнули собаки, прыгнул между ночным следом и тропой ушедшего стада. Враги были сзади. Враждебный треск перед этим раздался впереди. Кабан громадными прыжками понёсся на него, быстро уводя собак от опасного голоса.

Чем ближе накатывалась волна лая, тем беспокойней глядел в лес Волков. Он не мог понять, куда бежит зверь. То ему казалось, что ярость кипит на тропе, и тогда внутри у него всё обмякало, губы трогала беспокойная усмешка, и охотник зло косил глазом влево. То прозвонная лаята вроде бы шла на него, и Волков поднимал на неё ружьё, мышцы плеч туго набухали, а сужившиеся глаза шарили меж освещённых солнцем стволов по заснеженному перелеску.

Вдруг впереди треснуло, хрустнуло, потом зашуршало, как будто сквозь густые заросли тащили брезент, и Волков шагах в двадцати увидел кабана. Зверь тоже заметил охотника. Он на мгновение замер. Позади него клубились собаки. Остервеневшие от близкого запаха секача, они злобно схватывали красными пастями морозный воздух и, казалось, вырывали куски из пространства, отделяющего их от кабана. Но едва тот повернул обрубленный клин морды, собаки раскатились в стороны. У секача задвигались клыки, и кастаньетный перестук рассыпался по лесу. В этот же миг под елью польхнуло пламя, грохнул низкий гром, и грудь кабана прожгло. Секач храпко рывкнул. Опасный треск, вспугнувший стадо, был у ели. Зверь прыгнул к дереву.

Волков шатнулся назад. От закрасненного кровью снега кабан пролетел несколько метров; чёрной бомбой пал на ноги и коротко рыкнул. Это будто подстегнуло собак. В два прыжка Пират оказался рядом. К запаху секача примешивался горячий запах крови. Приподняв оскаленную пасть, Пират потянулся к задку зверя, и в эту секунду Волков в упор ещё раз выстрелил в кабана. Тот визгнул, дёрнул головой на охотника, но вдруг мгновенно повернулся и поддел собаку клыками. Пират взлетел в воздух, резко скрутился в клубок, как будто хотел отдохнуть на лету, и, уже падая, выгнулся в обратную сторону. Снег рядом с ним сразу покраснел. Тайга, дёргавшаяся в лае с другой стороны, захрипела, опала на задние лапы. Потом вертнулась, чтоб убежать. Кабан легко метнул тяжёлое тело к ней, лайка пронзительно завизжала, и Волков тут же увидел, как за кособоко ныряющей собакой потянулся кровавый след.

Всё это произошло в какие-то секунды. Волков едва успел переломить ружьё, вытащить гильзу из одного ствола, как секач снова повернулся к нему. Тёмно-бурая морда его была в крови, клыки, каждый длиннее патрона, бешено дробились друг о друга. Всё больше краснел истоптанный снег и вокруг кабана, но Волков вдруг понял, что ружьё зарядить не успеет. Их разделяло несколько шагов — и секунды прыжка. Этого не хватит даже для того, чтобы повернуть лыжи. Кабан захолил спину, нагнул морду. Не отводя глаз от зверя, Волков инстинктивно покосился влево и увидел, как Слепцов вскидывает ружьё. Учитель понял: это спасенье. Сдвинувшись с намеченного Адольфом места к большой ёлке, он сошёл со стрелковой линии, и теперь Павел, а также Карабанов, могли стрелять в кабана, не опасаясь попасть ни во Владимира, ни друг в друга. Однако, кинув взгляд вправо, он увидел, что доктор даже не поднимает своего ружья. “Что же ты! — мысленно вскричал Волков. — Помоги! Ты ведь можешь!”

После второго выстрела учителя Карабанов решил, что зверь остановлен. Но как только кабан расправился с собаками и приготовился к прыжку на Волкова, доктор сжался от страха. Владимир был обречён. Карабанов видел переломленное ружьё учителя и понял: тому не успеть перезарядить его. Сергей сделал рывок, чтобы вскинуть своё оружие — кабан смотрелся крупной, отчётливой мишенью, но в этот миг вспомнил вчерашний взгляд Волкова, когда тот сказал о баррикадах. Это был взгляд не того человека, который все последние годы обожал Сергея, чаще других признавая его правоту, и которого сам Карабанов любил, как брата. Вчера вместо доброго, порою нежного и покладистого товарища доктор увидел вдруг жёсткого и непримиримого противника, способного, как подумалось Сергею, стать опасным врагом его — карабановского — дела.

Доктор остановил начатое было движение рук и опустил ружьё ещё ниже. Но и со стороны Слепцова выстрела всё не было. Волков, не отводя глаз от кабана, снова скосил взгляд влево. К его потрясению, Павел тоже опустил стволы книзу. “Что ж они делают? — мелькнуло в мыслях. — Им ведь можно стрелять!”

Прежде чем Владимир увидел, он почувствовал движение кабана. Из бурой шерsti, как угли костра из опаленной травы, на него свирепо глядели красные глазки. У Волкова похолодела кожа под волосами и волосы стали какими-то чужими, словно замороженными в голову. Он быстро прижал руку к животу, закрываясь от удара, и задел нож, висящий на поясе. Выхватил его и коротко взмахнул рукой. Всё остальное произошло одновременно. Нож почти на всё лезвие вошёл в левый глаз кабана. Секач душераздирающе заверещал и бросился на охотника. Но дикая боль в момент броска заломила ему голову влево, и он, визжа, промчал возле ног человека. Тот успел ткнуть патрон в освободившийся ствол, вскинул ружьё, готовый нажать курок, едва кабан повернётся. Однако зверь пробежал немного. Он вдруг встал, качнулся и рухнул на правый бок. Не спуская глаз с кабана, Волков вдруг зачем-то тронул пальцами лицо, торопко обежал подбородок, усы. Пальцы дрожали, и во рту была пресная сухота. Оторвав, наконец, взгляд от тёмного бугра, Волков глянул в сторону Карабанова с электромом и тут же увидел, как через болото, правее Нестеренко, уходит стадо. Тот, наверное, услышал какой-то звук, повернулся и поднял ружьё. Но кабаны были далеко.

— Собаки! — крикнул Нестеренко. — Где собаки?

Учитель дрожливо усмехнулся: “Собаки... Отохотились наши собаки... Свободны теперь кабаны...”

— Гото-ов! — крикнул Слепцов Фетисову. Ближко в лесу отозвался Адольф, где-то в стороне — Валерка. Они ещё не знали, что произошло с их собаками, и в гулких голосах слышалась явная радость от удачного завершения охоты.

“Готов”, — подумал Волков, трусясь теперь всем телом и от слабости в ногах оседаая спиной по стволу. Но вдруг заметил это и зло очерил крепкие зубы. “Мужик должен стоять до последнего, — вспомнил он слова старшины Губанова. — А настояшый мужик — дольше последнего”.

Владимир пружинисто повернулся к поверженному врагу. Возле секача, потирая ладошки, уже шлёпал лыжами Фетисов.

— Ну, чего тут у вас произошло? — спросил немного запыхавшийся Нестеренко. Со своего места он видел какую-то часть картины. Когда бежал к собравшимся возле туши охотникам, задержался на “номере” Карабанова. Опытным глазом “прострелил” всю ситуацию.

— Ого-го, — покачал головой, глядя на торчащий из зверя нож. — Сурово...

— Кто-то из нас двоих должен был... Получилось, что он, — проговорил Волков.

— За жизнь, старик, надо драться насмерть. А ты почему не стрелял, Сергей?

— Засомневался.

— В чём?

— Ну, мало ли... Там Володя близко стоял.

А сам отвёл глаза, стараясь не встречаться взглядом с Волковым.

— Врёшь, Карабас. У тебя была прекрасная возможность.

— Такая же, как у Слепцова, — опустошённо заметил учитель. — Ты-то почему, Паша, не стрелял? Тебе-то зачем, чтоб меня кабан разделал?

Даже если бы Павла начали пытаться, он вряд ли смог бы сейчас внятно объяснить, почему опустил поднятое для выстрела ружьё. В те мгновенья в сознании пронеслись какие-то разрозненные, вроде случайные, но почему-то определённого окраса видения. Улыбающийся, счастливый Владимир и прильнувшая к нему на кухне Наталья, когда Слепцов рассказывал товарищу про оборонный комплекс. Она не всё время была с ними — то и дело уходила к дочери в другую комнату, но каждый раз, возвращаясь на кухню, чтобы налить мужчинам кофе, подложить Павлу печенья, с какими-то словами обяза-

тельно старалась или дотронуться до красивых волнистых волос мужа, или погладить его сильное плечо. И тут же в мыслях вставало лицо бывшей жены — брезгливо перекошенное, с ненавидящими зелёными глазами. Потом сын... Мать уводит его за руку к стоящему такси... Сын оборачивается, смотрит непонимающим взглядом на отца, и в глазах его — детская мука.

— Ему сова на ружьё села, — с насмешкой сказал Нестеренко, который не поверил, что Слепцов имел возможность защитить товарища и не сделал этого. “Наверно, Франк стоял на линии выстрела”, — подумал он. А влух строго произнёс:

— Накаркал ты со своей совой. Чуть было не вышло по твоим приметам.

В этот момент раздался вопль Адольфа. Выйдя из леса, он увидел растерзанного Пирата. А следом заорал Валерка. Тайга была жива. Она лежала вблизи корней вывороченного дерева и зализывала рану на ноге.

После шумных возмущений Адольфа — гибель собаки оказалась для него вроде смерти близкого человека, и причитаний Валерки — его Тайгу Карабанов хорошо перевязал бинтом, который всегда носил с собой, добыча никого не радовала. Пока Николай и Фетисов снимали с кабана шкуру, разделяли тушу на крупные куски, Валерка сходил на лыжах в деревню за трактором, на котором позавчера привёз охотников.

На этом же тракторе, в тележке, он повёз городских к их машинам. Говорить никому ни о чём не хотелось. Перед тем они под руководством Адольфа выкопали в мёрзлой земле могилку для Пирата. Кто был не за рулём — Фетисов и Нестеренко — выпили с егерем и его помощниками.

— Какой работяга был! — не замечая горечи водки, пробормотал Адольф. — По человеческим годам — лет тридцать пять. Самый возраст мужика... Никого не боялся.

— Прости, Адольф. Моя вина. Не взял двумя пулями.

— Его из пушки надо было. Не вини себя, Володя. У-уй, какой надёжник был!

Волков снял с ремня ножны с ножом.

— Возьми. На память.

— Не надо. Я и так не забуду. Сделаю из башки кабана чучелу. А ты оставь. Сезон кончился, но не жить.

Он хмуро глянул на Слепцова.

— Будем считать, эт самое плохое из предсказаний его совы.

— Да ну его на хрен, с его совой, — положил руку на плечо егерю Нестеренко. Он почему-то вдруг подумал, что обвинение Волковым Слепцова, скорее всего, справедливо. Только непонятно, что случилось с Пашкой? Почему он не стрелял?

— Я тебе достану щенка. От сибирской лайки. Мы ж ещё увидимся?

— Там глянем. Война план покажет.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

Наталья Волкова — тридцатичетырёхлетняя, уверенная в себе женщина, с классической фигурой (рост чуть выше среднего, бёдра шире плеч, груди заметного размера, что вызывало зависть у некоторых тощих её коллег), с лицом, слегка тронутым макияжем, и светло-каштановой причёской, заколотой сзади, отчего открывалась изящная шея, вышла из кабинета главного редактора озадаченная. Она не сразу поняла, что он от неё хочет. Главный сам выбрал избирательный участок, откуда Волкова должна была написать репортаж о голосовании в ходе референдума. Немногими словами Наталья показала атмосферу происходящего на участке, сумела разговорить с десятком человек после их выхода из кабинок — её цепкость не раз выручала редакцию, выбрала из нескольких почти одинаковых мнений самые интересные и при этом уложила в строгие рамки заданного размера, что особенно тре-

бывал соблюдать главный редактор. И вот теперь он сказал, отбросив в сторону прочитанный материал, что это не то, чего от неё ждали.

— Нет реальных людей. Борис Николаич призвал голосовать против сохранения Союза. А у тебя все “за”. Мы же знаем: многие обещали поддерживать призыв Ельцина. Где они? Мы должны показать их.

— Может, где-то они голосовали “против”, Грегор Викторович. Вполне возможно, и на этом участке. Но мне надо было тогда опросить всех. Полторы тысячи.

— Зачем? Ты што — маленькая девочка? Не знаешь, как это делается, и не понимаешь, чево от нас ждут? Активная часть общества не хотела референдума. Консерваторы настояли на нём. Пусть они узнают мнение людей. Не из их “Правды” и “Советской России”, а из демократических изданий. Ты не смогла встретиться с противниками Союза. Не спорь, не смогла. Но они там должны быть, и их надо показать. Просто имена. Можно без фамилий... Даже лучше без фамилий. Это будет обобщённый народ.

Наталья вошла в комнату, на дверях которой была прикреплена табличка: “специальные корреспонденты”. Таких кабинетов в редакции было два, и нигде рядом с табличкой не значились фамилии спецкоров. В отличие от других комнат, двери которых украшали и должности сотрудников, и их фамилии. Специальные корреспонденты возводились в это звание и выбрасывались из него порой после одной-двух публикаций. Решение принимал быстрый на оценки главный редактор, и приговор обжалованию не подлежал. Низвергнутый сотрудник переселялся вместе со своими блокнотами, магнитофоном и прочим скудным скарбом в большую общую комнату, где сидели, в зависимости от настроений главного редактора и его оценок работы, пять—семь человек.

Волкова, по сравнению с другими, надолго задержалась в кабинете с безымянной табличкой. Дольше неё в этом звании пребывала только Вероника Альбан — соседка Натальи по комнате. В редакции пугливо шептались о причине благосклонности главного редактора к этой тридцатилетней незамужней женщине. Любовная связь отбрасывалась абсолютно. Высокий, подтянутый, хотя и стареющий, но всё ещё молодящийся Грегор Викторович Янкин был избалован женскими увлечённостями. А пожив до начала перестройки несколько лет в Праге, где работал в международном (но финансируемом Советским Союзом) журнале социалистической тематики, он узнал, к тому же, утончённость европейской любовности.

Причина благосклонности была в ином. Вероника Альбан — фигурой мужеподобная женщина, с широкими, костистыми плечами, с большими и в любое время года красными кистями длинных рук, имела не только приятное, можно даже сказать — красивое лицо и буйные, от природы выющиеся волосы, но и хватку пантеры. Она решила женить на себе давнего друга Грегора Викторовича, трижды разведённого, талантливого, пятидесятилетнего обозревателя одной из центральных газет. Дело тянулось долго, кандидат в мужа время от времени выскальзывал из цепких объятий Вероники, однако при этом не переставал писать за неё статьи и просить друга о благосклонности.

Сейчас у Альбан с жертвой был период “мира в саванне”, когда охотница сыта, а обречённое парнокопытное полагает, что дремлющая на солнце пантера это всего лишь добрая киска.

— Ну, чего Грегор от тебя хочет? — спросила она, увидев сосредоточенное лицо вошедшей соседки. — Не проникла в его великие замыслы?

— Не нашла противников сохранения Союза.

Наталья неохотно полезла в сумку за диктофоном.

— А может, их там действительно нет? — с сомнением проговорила она.

— Значит, надо придумать. Помнишь известное выражение: цель оправдывает средства?

— Да, конечно. Девиз иезуитов.

— Нам с тобой наплевать, чей это девиз. Главное — он сегодня актуален. Если нет противников Союза, мы должны их придумать. Показать другим — вот: смотрите! Вы колеблетесь, боитесь сказать своё решительное сло-

во... А такие люди уже есть. Подтягивайтесь к ним. Как там изрекал любимый автор нашего Грегора?... Ульянов — Ленин... Газета — коллективный организатор? Вот мы и должны организовать. У “совка” особая психология. Верить тому, что написано в газете. Тем более, если критикуется власть.

— Я тебе говорила, Вероника. Не переносу этого слова: “совок”. Мерзкое оно. Грязное. Меня лично оскорбляет.

— Забыла, забыла, — усмехнулась Альбан. — Но о цели помню. Сейчас информация становится самым сильным оружием. Мы можем одним сообщением взорвать дремотную обстановку... заставить власть трястись от злости... Пока от злости... Потом — от страха. Но для этого надо белое представить чёрным... И не комплексовать. Я сдала Грегору свой репортаж. В нём только один человек проголосовал за сохранение Союза. Остальные — я придумала пять человек...они у меня — “против”. Один — мне самой понравилось — так хорошо говорит: “Пусть разваливается империя. Мы на её обломках выстроим процветающую Россию”.

— Это твои мысли?

— Не только. Это идеи Грегора... А у него, думаю, от других...

— Зачем это нужно? Газета всё равно выйдет после референдума. Результаты будут известны без нашего влияния.

Вероника Альбан иногда представлялась, как Ника. Некоторые думали — сокращает имя для удобства. Но Волкова догадалась: соседка любит его больше, чем паспортное. Это было имя древнегреческой богини Победы, и по-мужски сложенная женщина видела в нём перст судьбы. Стараясь следовать предначертанию, Альбан приучила себя говорить громко, с командными интонациями даже там, где требовалось что-то нежно прошептать. При этом последнее слово старалась всегда оставить за собой.

— Во-первых, ты знаешь, мы боремся против референдума с момента решения о нём Съезда народных депутатов СССР. Призыв Ельцина читала? Читала. Союз не нужен. Это — концлагерь народов. Бесконечный Гулаг. И больше всего Советский Союз не нужен России. Русским! Они пострадали от этой политической системы сильнее всех. О чём мы не перестаём говорить и писать. А, во-вторых, чем больше мы покажем противников сохранения Союза, тем больше оснований поставить под сомнение результаты референдума. Партократам надо будет оправдываться. А это ещё один... и о-чень хороший повод не верить власти.

— Чем же тебе так нагадила страна, где ты выросла? — не сдержав раздражения, спросила Наталья. — Я, наоборот, проголосовала за Союз. Империей можно назвать что угодно. Даже Соединённые Штаты. Одного только не понимаю: как нам государство даёт деньги... Даёт, чтобы мы это государство разрушали.

— Поглядела бы я, как ты пожила б на их деньги, — тряхнула чёрной красивой гривой Альбан. — Как бы купила новую машину. Одевала себя... Дочку... Мужа. К счастью, мир не без добрых людей. Нас выписывают не только в Союзе. За границей тоже хотят знать, что здесь происходит. Оттуда идёт информация и... очень большие деньги.

— Значит, мы на чужие деньги роём могилу нашей стране?

— Мы утверждаем гласность! Создаём демократию. Хотим ликвидировать тоталитарный режим. Для этого можно использовать все средства. Думаешь, целые поезда с шахтёрами едут в Москву на деньги этих чумазных шахтёров? А живут они здесь в гостиницах... стучат касками по асфальту — на свои сберкнижки? Они бы с места не тронулись! Им говорят, что надо делать. Дают деньги. Нам помогают построить новое государство. И не важно, чьи это деньги.

Она внимательно поглядела на коллегу.

— Или ты считаешь по-другому?

— Представь себе, по-другому.

Наталья, как все остальные, знала об особых отношениях Альбан с главным редактором. Подозревала, что Вероника информирует друга своей жертвы о разговорах в редакции. Однако её благосклонности, подобно некоторым, не искала. По мелочам умела промолчать, могла ловко, когда считала

нужным, уйти от провокационной темы, но, если речь заходила о чём-то принципиальном, не слишком оглядывалась по сторонам. Так происходило уже не раз. Особенно во время тбилисских событий и карабахского конфликта. Дважды Грегор Викторович хотел не только перевести Волкову из специальных корреспондентов, но и выгнать из редакции — его демократические принципы руководства отвергали “излишне гуманные” советские законы о труде. Но что-то всякий раз удерживало Главного. Лишь позднее, как человек проникательный, он понял: останавливало ощущение полной безобязанности с той стороны. За годы руководства разными коллективами он привык к несопротивляемости человеческого материала, к слегка прикрытой, а чаще открытой прогнутости. С имеющими власть и сам был таким же. Поэтому, властью располагая, с людьми не церемонился. Причём даже больше, чем это проявлялось по отношению к нему.

А тут была какая-то нетронутая, прямо-таки наивная безобязанность. Словно у туземца, впервые увидевшего направленную на него винтовку и не подозревающего, что из этой красивой палки может грянуть опасность.

Потом Грегор Викторович с удивлением ощутил и другие импульсы в своём отношении к Волковой. Не понимая почему, он вдруг стал обращать внимание на её фигуру, когда Наталья выходила из кабинета или случайно попадалась на глаза в коридоре редакции. Невольно отводил взгляд, встретившись с её взглядом. Прожжённый циник, ловкий умница и пресытившийся донжуан он даже разозлился на себя однажды, заметив в себе такие перемены. Поразмыслив над происходящим, Грегор Викторович успокоил свои смятения. “Разок возьму, а там сама будет проситься”.

Тем не менее, со взятием не получалось. После одного наиболее фривольного словесного приступа — с расспросами о муже, с намёками на свободную любовь, с откровенным приглашением в примыкающую к кабинету “комнату отдыха” и вроде случайную попытку обнять, он вдруг увидел в её вежливо улыбающихся глазах такую брезгливость, что не смог даже достойно выйти из этой ситуации. Только пробормотал: “Иди, иди”, и обмякше пал в своё кресло. Его чуть не задушила злость на эту паскудную бабу. “Выгною!” — решил в тот же вечер.

До самого позднего сна, а засыпал он в последнее время долго и трудно, Грегор Викторович видел в мыслях картины, как он расправится с Волковой. Объявит на заседании редколлегии, что уволил её. Нет, надо не при всех. Надо ей одной это объявить. В своём же кабинете. Увидеть, наконец, испуг на красивом лице, а в тех самых жёлто-карих глазах, где плеснулась брезгливость, готовность сделать всё, чтобы загладить нанесённую обиду.

Однако утром Главный понял: если Наталью уволит, та не пропадёт. Зато он лишится возможности отомстить ей после приручения.

* * *

Но Волкова сама уже не раз подходила к мысли — уйти из этой редакции. Когда-то она очень хотела попасть сюда. Писала в газету, работая на телевидении. Ещё активней стала сотрудничать, оказавшись на короткое время в профсоюзном журнале.

Это было начало крутых перемен. Назначение главным редактором Грегора Викторовича Янкина, в прошлом немного скандального, потом основательно подзабытого журналиста, специализирующегося в последние годы на толковании ленинских работ, быстро изменило тусклую, заурядную газету. Одни считали это заслугой только Грегора Викторовича. Другие, отдавая должное бульдожьей хватке “верного ленинца”, его способности выжать из человека всё необходимое для редакции, а главным образом, для себя лично, со снисходительной улыбкой называли иную причину — стечение обстоятельств. Просто Грегор Викторович оказался со своими способностями на нужном месте в нужное время. Для верности этого тезиса советовали оглянуться хотя бы на его недавнюю биографию. Вытащенный перестройкой из забвения, он продолжал с воспалённым энтузиазмом перетолковывать на

страницах большой центральной газеты известные строки ленинских работ, доказывая историческую несокрушимость социализма и гениальную проницательность своего кумира. Особой признательности читателей не получил. Если не считать награды Института марксизма-ленинизма в виде отлитого из силумина настольного бюстика вождя мирового пролетариата.

Некоторое время этот бюстик стоял на столе Грегора Викторовича рядом с телефоном АТС-2, так называемой “второй вертушкой”. Была ещё одна АТС правительственной связи — “первая вертушка”, но к ней имел доступ совсем ограниченный круг лиц. Впрочем, и “вторая” ставилась избранным. Среди аккуратных условий, сдержанно оглашённых кандидатом в главные редакторы, была просьба поставить телефон АТС-2.

На почётном месте бюст Ленина простоял недолго. Сначала Грегор Викторович передвинул его в дальний угол стола — за баррикады из бумаг. Затем спрятал в верхний ящик. А однажды Наталья Волкова, отстаивая свой материал о виновниках карабахского конфликта, вдруг увидела, как Главный вынул бюст из стола и начал разбивать им грецкие орехи. При этом, между рассуждениями о гласности и демократии, пояснил ей, что нижней частью бить нельзя — отколется. Надо головой. “Самая крепкая часть у вождя — голова”.

К тому времени Грегор Викторович Янкин окончательно избавился от своих “заблуждений”. Перестройка трясла и качала страну, как состав, несущийся неизвестно куда по разбираемым впереди путям. Решив, что в огромном государстве с сильным инерционным сопротивлением крутые реформы можно провести одним махом, Горбачёв отказался от той этапности преобразований, к которой подходил Андропов и какую уже не первый год осуществлял в Китае Дэн Сяопин. Результатом стало быстрое разрушение финансовой системы, экономики, стремительно растущий дефицит самых необходимых товаров, социальное напряжение в обществе.

Видя, что за три с лишним года перестройки жизнь в стране не улучшается, а, наоборот, становится хуже, Горбачёв стал искать виновников и причины. Виноватыми объявил “ретроградов”, тормозящих перестройку, а причинами назвал недостаток демократии, гласности и задержку политических реформ.

Это заявление с радостью поддержал Александр Яковлев. Ближайший соратник генсека, он для одних был главный идеолог перестройки, для других — её “серый кардинал”.

Спустя некоторое время его назовут иначе: советский Иуда. Но до той поры Александр Николаевич, по сути, второе лицо эпохи перемен. План кардинальных реформ в стране он предложил Горбачёву ещё в 1985 году — сразу после “коронации” нового Генерального секретаря. Тогда Горбачёв сообразил: “Рано пока”. Однако поставил Яковлева на очень важную должность: заведовать отделом пропаганды ЦК Компартии. Через несколько месяцев повысил до секретаря Центрального Комитета. Вместе с другим секретарём ЦК — Егором Лигачёвым — поручил отвечать за идеологию, информацию и культуру. “Две руки” генсека недолго трудились согласованно. “Правая” — Лигачёв — сначала втянул Горбачёва в антиалкогольную кампанию. Потом стал раздражать всё более критическим отношением к ходу перестройки, её информационным обеспечением. В то время как другая “рука” набирала силу и влияние, манипулируя выходящей на передний план гласностью.

Первое время гласность воспринималась обществом, как очередная кампания критики отдельных недостатков в отдельных звеньях Системы. Это было привычно и понятно. Даже когда началось сдержанное осуждение предыдущего времени застоя, народ не особенно взволновался. Такое тоже было. Хрущёв критиковал Сталина. Брежнев — Хрущёва. Теперь настала пора пожуричь “Бровеносца в потёмках”, как в последние годы жизни острословы называли Брежнева.

Однако вскоре картина стала круто меняться. Известно, что народ без истории — стадо. А народ, чья история — жизнь убийц, ублюдков и рабов — стадо злобное и опасное. Средства массовой информации, ещё недавно отстаивающие толерантность, интернационализм, уважение к прошлому страны

и отдельным её этапам, вдруг резко поменяли полярность. Даже далёкие от пропаганды люди не могли не заметить, что произошло нечто необычное. В прежней, досоветской истории государства, все известные личности — цари, полководцы, деятели духовности и прогресса — внезапно обрели такие черты нравственного и человеческого разложения, что народу, главным образом, русскому, надо было не гордиться своим прошлым, а стыдиться его. Это и стало откровенно предлагаться со страниц печатных СМИ и телеэкранов.

Но ещё более зловещим начали представлять средства массовой информации весь советский период. Сначала главным врагом был объявлен Сталин. Дескать, он искажал идеи Ленина о настоящем социализме. Его поочерёдно громил сперва хрущёвской “оттепелью”, потом нэпом, затем Бухариным, которого показывали фигурой, равной Ленину, и, разумеется, борцом со Сталиным.

Когда экономический, идейный и управленческий демонтаж распатал страну до треска её несущих конструкций, прикрытия были отброшены. Теперь главным врагом всех народов Советского Союза “демократическая общественность” объявила существующий государственный строй. И уже не скрывая целей, в открытую заговорила о необходимости “разрушить советскую империю”.

Наталья Волковой с каждым месяцем работать становилось трудней. Приезжая домой, она рассказывала Владимиру про свои споры на “летучках”, всё более частые разногласия с ответственным секретарём и главным редактором. Муж стал заметно политизированным, ругал, почти словами Нестеренко, демократов, предлагал бросить эту газету. Чтобы успокоить его, Наталья соглашалась. Но сама понимала, что выбор у неё небольшой. Средства массовой информации, имевшие всего несколько лет назад одинаковый политический окрас, теперь чётко разделились по своим идейным и целевым пристрастиям. Это определяло людской интерес к ним, уровень их популярности. В большинстве газет и журналов коммунистической ориентации, несмотря на резко изменившуюся обстановку, царила прежняя мундирная застёгнутость на все пуговицы, преснота языка и манеры изложения, какая-то, по едкой оценке Владимира, “стреноженность хромой лошади”.

Под стать своей прессе было и большинство партийных функционеров. Слушая их, Наталья чувствовала тревогу. Эти люди, похоже, не знали, как бороться и за что именно. Они не наступали, а оборонялись. Всё, что могли предложить — был горбачёвский “социализм с человеческим лицом”. Однако ставший к этому времени сомнительным лозунг дискредитированного политика, с огромным напором, умело и беспощадно рвали в клочья средства массовой информации другой политической стороны. Той, где оказалась сама Волкова, и агрессивная отвязность которой становилась явно угрожающей.

Как могло произойти, думала Наталья, что за короткий срок в стране появилась совершенно иная, чем прежде, журналистика? Откуда взялись все эти люди, которых вчера никто не знал, а сегодня их фамилии известны миллионам? Не завезли ведь из других стран? И не вырастили ускоренно в специальных школах?

Не завезли, мысленно отвечала она себе, зная многих журналистов лично. Так же, как сама Наталья, они и раньше работали в тех же газетах и журналах, на том самом телевидении и радио, откуда разносятся их слова сегодня. Тогда чем объяснить такую метаморфозу? Размышляя над этим, Волкова приходила к однозначному ответу. Провозгласив гласность, как оружие перестройки, Горбачёв снова не просчитал возможных последствий.

Глава вторая

Сам термин “гласность” был придуман совсем не Горбачёвым и даже не Яковлевым. Он появился в России ещё при Александре Втором и относился больше к государственному управлению. К прессе получил отношение перед Октябрьским переворотом 1917 года. После чего кричавшие громче всех о свободе слова большевики немедленно уничтожили многоголосие, и на про-

тяжении десятилетий тысячи “рупоров” говорили одним голосом. Поэтому появившаяся возможность критиковать недостатки на работе, проблемы повседневной жизни и даже действия властей была встречена огромным большинством людей как освежающий дождь в душный день.

Особенно послабление диктата обрадовало журналистов. Абсолютное большинство их не были ни диссидентами, ни тем более яркими антисоветчиками. Понимая своё призвание, как борьбу за улучшение жизни в стране, защиту несправедливо обиженных, критику бюрократии и партийной косности, они постоянно наталкивались на противодействие и запреты говорить даже не в полный, а хотя бы в половину голоса. Причём запреты эти, порой абсурдные, исходили не только от каких-то далёких, неведомых цензоров. Незадолго до смерти Брежнева на телевидение, где работала Наталья Волкова, прислали нового главного редактора. Приятный лицом, со вкусом одетый сорокалетний мужчина пришёл из отдела пропаганды горкома партии. Первое, что запретил употреблять в передачах, было слово: “по-прежнему”. Особенно — в сочетании с какими-либо недостатками. Стали допытываться: почему? Объяснил: можем бросить тень на Леонида Ильича. Скажет участник передачи: “по-прежнему плохо работает баня номер два”, а у народа — ассоциация с фамилией Генерального секретаря.

Страдая и раздражаясь от всевозможных запретов, которые создавали “зоны вне критики”, а по сути усиливали недоверие к официальной пропаганде даже, когда она говорила правду, журналисты, как никто другой, встретили новое явление с энтузиазмом. И настолько поверили в это лекарство оздоровления, что иногда слово “гласность” стали писать с большой буквы.

— Мы с вами, Наталья, вроде Диогенов, — сказал как-то Волковой журналист из большой центральной газеты Виктор Савельев, с которым она постоянно встречалась на разных мероприятиях. — Только тот днём ходил с фонарём... Искал хорошего человека... А мы в сумерках... перед рассветом... Несём каждый по баночке с керосином. Потом туда вставят фитилёк... Зажгут... Я даже вижу эти тысячи людей с огоньками в руках... Идут цепочкой... друг за другом. Разные. Но больше всего нас — журналисты. Каждый несёт свою баночку, чтобы осветить дорожку к новой жизни.

Если б об этом сказал кто другой, Наталья сочла слова слишком выпендренными. Но Виктора она знала, по нынешним спрессованным временам, очень давно. Сначала только читала его статьи в популярной газете, где Савельев работал. Потом познакомились на заседании какого-то “общества трезвости” — тогда только начинала разворачиваться антиалкогольная кампания. Позднее встречались на других мероприятиях. Несколько раз оба участвовали в передаче Центрального телевидения “Прожектор перестройки”, куда их приглашали, как известных журналистов.

Савельев был из тех, кто искренне хотел обновления страны и кто страстно поверил в это с приходом Горбачёва. Его, как многих журналистов, не устраивала политическая фальшь общественного устройства, цензурный пресс, заставляющий замалчивать широко известные в народе негативные процессы, одним из которых стало перерождение партийной номенклатуры, особенно в кавказских и среднеазиатских республиках. Разве это выборы? — думал он, когда писал репортажи о выдвижении единственного кандидата и о голосовании за него одного. Почему люди сами не могут назвать тех, кому доверяют, и не выбрать из нескольких лучшего?

А то, что стало открываться во властной среде некоторых национальных республик, было не менее жутко, чем преступления мафии в многосерийном итальянском фильме “Спрут”, показанном на советском телевидении в 1986 году. Это Савельев сам узнал, начав, как журналист, расследование теневой, преступной жизни национал-партократов в Южном Казахстане. При обыске у одного из первых секретарей райкома партии нашли в трёхлитровых банках полтора миллиона рублей, сто килограммов конфет и несколько ящиков чая, который к тому времени уже сгнил от долгого хранения.

В другой области на юге Казахстана, первый секретарь обкома партии — Герой Социалистического Труда, кавалер пяти орденов Ленина, прославленный в фильмах и брошюрах, по оперативным данным, получил взятку почти на два миллиона рублей.

Этот секретарь обкома был вершиной местной пирамиды. Своего рода преступным “авторитетом”, под крылом которого криминал захватил все важные отрасли.

Особенно бурно разрослось беззаконие в сфере высшего образования. Ректор местного института, почти не скрываясь, брал взятки за поступление в вуз людей определённой категории. Это была молодёжь из одного с ним жуза — так называются у казахов крупные объединения родов. Всего их три — Старший жуз, охватывающий территорию как раз Южного Казахстана, Средний и Младший. Ректор принимал в студенты молодых людей, не способных, как потом выяснилось, подтвердить свои знания даже за восьмой-девятый классы.

Тем не менее, они становились студентами, с помощью взяток “переходили” с курса на курс, а “закончив” таким способом институт, занимали руководящие должности и выгодные места, оттесняя людей, не принадлежащих к клану.

Статья Савельева об опасном для многонационального государства явлении, которому он дал имя “национал-протекционизм”, вызвала множество писем и звонков. Люди подтверждали, что и в других республиках происходит нечто подобное. Поэтому для Виктора было естественным, что в начале перестройки он оказался энергичным сторонником горбачёвских реформ.

Но он же потом, первым в редакции, публично заявил о необходимости критического взгляда на действия Горбачёва после трёх лет его преобразований. Съездив незадолго перед тем с одним из руководителей редакции в командировку в Китай, Виктор был поражён темпами нарастающих там перемен. О том, какой нищей и разорённой была страна при маоистах, до прихода к руководству Дэн Сяопина, он много читал не только в открытой советской прессе, но и в изданиях ТАСС для “ограниченного круга”. Теперь увидел гигантскую стройку и немало такого, чему мог позавидовать Советский Союз. Новые широкие автострады — пока ещё полупустые, но готовые к росту автомобилизации. Высотные здания, как в западных городах. Японские телевизоры китайского производства. Строящиеся автомобильные заводы. Магазины, полные китайских продуктов и с большинством промышленных товаров своего производства. “Социализм с китайской спецификой” быстро поднимал огромную отстающую страну, если ещё не на экономические вершины, то уже на явно различимые холмы благополучия.

А горбачёвская перестройка делала наоборот. И потому, выступая на еженедельной редакционной “летучке”, Савельев сказал:

— Сегодня мы видим: пока наш лидер вроде бы не плох. Но это не значит, што всё, што он делает сейчас, а тем более станет делать в будущем, абсолютно хорошо. И если мы не будем бороться за то, штобы говорить критические слова лидеру партии, может оказаться, што кто-нибудь из сидящих здесь доживёт до того дня, когда снова надо будет критиковать ушедшего в мир иной, но допустившего очередную порцию ошибок. Штобы человек не сбивался с пути (а любой лидер — тоже человек), надо постоянно зажигать “фонари критической остратки”. А уж про критику правительства и говорить не стоит! Она нужна и обществу, и правительству.

Савельев знал: в редакции не он один думает так же. Но тон в большом коллективе задавали осторожные. Раньше они были осторожны относительно Брежнева. Хвалили написанные за него книги, старались не отстать от “первой” центральной газеты в публикации снимков с очередным награждением престарелого генсека, не вставали, а вскакивали на редакционных партсобраниях, когда предлагалось “избрать почётный президиум в составе Политбюро во главе с товарищем Леонидом Ильичом Брежневым”. Савельева особенно удивляла нелепая конструкция фразы: “с товарищем Леонидом Ильичом”.

Теперь они держали нос по новому ветру, не позволяя усомниться в правильности действий Горбачёва. И самым изощрённым обладателем “политического обоняния” был один из четырёх заместителей главного редактора сорокадвухлетний Никита Бандарух.

— Мне кажется, это легкомысленный призыв: давайте критиковать Горбачёва и прочих руководителей, — сказал он осуждающим тоном. — Давайте сражаться за дело — тем самым мы будем противостоять людям, которые делу мешают.

— Интересно, как можно противостоять кому-то, не называя его? — спросил, не вставая с места Савельев. — Опять безликие виноваты?

Заместитель главного даже не посмотрел в его сторону. Продолжал для всех:

— И потом — будем реалистами: во-первых, мы ещё не достигли такой степени гласности, когда такое можно, а, во-вторых, в нынешней ситуации наскоками на лидеров мы не поможем, а помешаем перестройке.

Никита Семёнович Бандарух был родом из маленького городка на самом западе Западной Украины. О его прежних работах знали немного. Называли разные газеты. Известно, что какое-то время был корреспондентом в небольшой, но важной европейской стране. Говорил он негромко, вкрадчиво. Улыбался, не раскрывая рта — только растягивал сжатые губы. При этом глаза — чёрные, с маленькими ресницами на веках, оставались настороженными, словно человек боялся что-то выдать. Товарищ Савельева по бане и биллиарду, сам недавно возглавлявший ту газету, откуда пришёл Бандарух, однажды в большом подпитии рассказал Виктору, что лично подписывал своё согласие Комитету госбезопасности СССР об открытии корпункта в маленькой, но важной стране, для возможного прибытия туда их человека в качестве корреспондента газеты.

Стал ли этим человеком Бандарух или кто другой, Савельеву было безразлично. Разведки всех стран мира использовали “крышу” журналистики для своих сотрудников. Виктор сам был знаком с некоторыми зарубежными корреспондентами их газеты, про которых знал, что эти обаятельные, коммуникабельные парни, способные встретить и угостить, интересно показать спецкору из Москвы страну пребывания, чаще пишут в “контору глубокого бурения”, чем в редакцию.

В Бандарухе Савельева раздражали два качества — открытая неприязнь к каждой статье, где говорилось о проблемах русских, и флюгерное мастерство в точности показывать направление властного ветра. На той “летучке”, где выступил Савельев, обозреватель вышедших номеров газеты критиковал материал, автор которого назвал тревожный факт, но не стал его анализировать.

— В корреспонденции приведена интересная статистика. В Советском Союзе увеличивается выпуск стиральных машин. Мы производим их больше, чем США. А в продаже их нет. Я, как потребитель, прочитав этот материал, вправе спросить: кто врёт? Статистика или газета? А если не врут, то где стиральные машины? Их оставляют на заводе? Вывозят за границу?

Обозреватель взял со стола, где были разложены газеты, какой-то лист бумаги.

— Вот пишет в редакцию сталевар с “Уралмаша”. Удивляется, што происходит в торговле. “Три года назад телевизорами были заставлены полки магазинов. Сейчас их нет. Тогда, может, надо ввести талоны на них”, — предлагает читатель.

— Мало ли што могут предложить нам читатели, — аккуратно заявил Бандарух. Он вёл “летучку”, как заместитель главного редактора, и комментировал каждое выступление.

— Давайте дождёмся 19-й партконференции. Там Михаил Сергеевич скажет, што нам делать. Это будет, я уверен, новая серьёзная программа нашей партии. Выверенная. Обдуманная. Её тогда и надо будет поддержать письмами читателей.

* * *

В Советском Союзе все государственные решения стратегического характера начинали исполняться только после обсуждения и одобрения их единственной правящей партией, руководящая роль которой была отражена даже

в Конституции страны. Самые главные документы принимались на съездах КПСС. Между съездами тоже могли быть приняты масштабные решения. Их “узаконивал” на своих пленумах Центральный комитет. Он считался расширенным рабочим органом партии и собирался по необходимости, в отличие от постоянно действующих Секретариата и Политбюро.

В Уставе была также предусмотрена возможность созывать Всесоюзные партийные конференции — нечто вроде уменьшенного съезда, но этим с 1941 года ни разу не пользовались.

Через три года после начала перестройки многие почувствовали: ситуация в стране даже по сравнению с предыдущим временем стала хуже. Видел это и Горбачёв. Сопротивление нарастало. И хотя он сменил уже три четверти первых секретарей областных и республиканских комитетов партии, вновь приходящие, в большинстве своём, уже не так восторженно слушали генсека и глядели на него. Горбачёв понял: то, о чём ему сначала осторожно, потом всё настойчивей говорил Яковлев, пора начинать делать.

— Демократизация политической системы, — в очередной раз негромко внушал Яковлев, заглядывая сбоку в лицо генсека, — придаст новый импульс перестройке.

Они шли по коридору в кабинет Горбачёва, и Яковлев, стараясь не отставать от быстро идущего руководителя, хромал сильнее обычного. Он презирал этого импульсивного, много говорящего, но нерешительного человека. Иногда Александру Николаевичу казалось, что Горбачёв вот-вот “сорвётся с катушек”, как говорили у него на родине — в Ярославской области, где он начинал свою партийную карьеру, и повернёт к “правым”. К этому мастодонту Лигачёву, мрачным военным, к вежливому, но коварному председателю КГБ Крючкову. О последнем — Яковлев не мог думать без внутренней дрожи. Так и виделся ему в сухой улыбке Крючкова какой-то вопрос, который тот не может пока задать из-за субординации.

— Вы уже много сделали, Михаил Сергееч, — продолжал “серый кардинал” и, увидев, что на лице Горбачёва появилась довольная улыбка, тоже улыбнулся своим мыслям. — Место в истории вам заготовлено... Его никто никогда не займёт. Реформа этой... нашей политической системы давно созрела — вы сами не раз говорили об этом.

— Съезд надо ждать. Без съезда такие решения невозможны. А он не скоро.

— Зачем съезд, Михаил Сергееч? Устав разрешает быстро собрать конференцию. Со времени Сталина их не проводили. Брежнев однажды хотел, но почему-то передумал. А вы и здесь будете новатором.

19-я партконференция начала работать в последних числах июня 1988 года. Грегор Викторович Янкин тоже был делегатом. Но не от Москвы. Он знал: если ото всех живущих здесь партийных функционеров и правительственных чиновников, народных артистов и писателей, главных редакторов центральных СМИ и академиков избирать нужное количество делегатов, получится сильный столичный “перекосяк”. Поэтому многих москвичей вкрапляли в делегации из других мест.

Грегор Викторович стал делегатом от одной из областей Узбекистана. Он не очень хотел, чтобы его фамилия связывалась с этой среднеазиатской республикой. Там следователи Генпрокуратуры раскручивали “хлопковое дело” с масштабными приписками и взятками. Нити вели к руководителям республики.

Янкин был уверен, что его не только тут могли бы назвать своим делегатом на конференцию. Займись короткие отношения с главным редактором самой скандальной и популярной газеты, тем самым в какой-то мере обезопасив себя, захотели бы руководители многих областей. Однако в Аппарате ЦК решили, что полезней “повязать” его именно с Узбекистаном.

О чём будет доклад Горбачёва, Грегор Викторович знал. Накануне конференции ему подробно рассказывал Яковлев, какую трансформацию политической системы они наметили с Генеральным секретарём. При этом Александр Николаевич всячески давал понять, что все идеи принадлежат Горбачёву, а он только с ними согласен. Однако Янкин поверил бы в это три

года назад, когда впервые увидел Яковлева не по телевизору, а прямо перед собой — в его кабинете. Тогда новый куратор советской пропаганды предложил ему стать главным редактором тусклой газеты, на страницах которой, как он сказал, “дохли мухи от скуки”. Теперь Грегор Викторович был вхож во многие кабинеты, в том числе самые высокие, имел везде информаторов, и как одарённый от природы аналитическим умом, редкой наблюдательностью, а также приобретённым умением лавировать, видел, что Александр Николаевич лукавит. Он не раз встречался с Яковлевым на людях и один на один, внимательно вслушивался в его бубнящий голос, стараясь проникнуть сначала в то, что говорил Идеолог перестройки, а позднее в то, что недоговаривал “серый кардинал”. В паре с Горбачёвым Яковлев был ведущим, но никоим образом этого не показывал. Наоборот, всячески подчёркивал, что он только исполнитель горбачёвских замыслов. Намеченная реформа политической системы, как её представил Янкину Александр Николаевич, вызвала у главного редактора смятение. Даже ему, сделавшему при поддержке Яковлева, газету форпостом резкой критики советского строя, показалось, что реформа будет иметь разрушительные последствия, приведёт к потере управления всем государственным организмом. Неужели этого не поймут делегаты?

Он слушал Горбачёва, исподволь оглядывая людей. Лица были сосредоточенные, восторженные, настороженные. Не было только сонно-равнодушных, какие он видел раньше на подобных партийных съездах.

Да и могло ли быть иначе? Генеральный секретарь партии резко критиковал свою партию за, что она захватила все рычаги управления — от высших до самых малых, подмяла под себя Советы, принимает решения, но при этом ни за что не отвечает, и такая окостенелая конструкция тормозит перестройку. Нужно новое мышление, сказал Горбачёв, и Грегор Викторович снова вздрогнул, как это у него непроизвольно получалось, когда он слышал неграмотные выражения генсека. “Мыши у тебя в голове бегают, — подумал Янкин. — А кота хорошего нет”.

Горбачёв предложил отделить партийные органы от советских и первым секретарям избираться в председатели Советов. Одновременно реформировать государственную власть. Для этого по-новому — на альтернативной основе — провести выборы всех Советов — от районных до Верховных в республиках и Верховного в Союзе.

Поскольку Грегор Викторович об этих намерениях знал заранее, он, не отвлекаясь, наблюдал за реакцией той части зала, которую мог охватить взглядом. Восторженных лиц стало меньше. Они ещё попадались, но это, скорее, были те, кто ради интереса готов был на любые перемены, чем бы они ни кончились. Зато настороженных прибавилось. И, похоже, не только среди партфункционеров. Янкин глядел на них, и ему казалось, что он читает их мысли. Обновиться, конечно, надо. Может, это действительно выведет перестройку из штопора. Правда, пока все перемены вели к худшему. Альтернативные выборы... Кто на них победит? Безответственные крикуны? А спросят с руководителя, как бы он ни назывался — председатель Совета... первый секретарь.

Вместе с тем Янкин заметил, что с некоторых лиц настороженность уходит и вместо неё появляется привычное спокойствие. “Думают, очередная болтовня. Пока примут законы о выборах, пока всё утрясут и согласуют, немало утечёт воды. А в ней многое утонет. Может, и самый главный...”

Неожиданно он обратил внимание на странное поведение Горбачёва. Работа конференции заканчивалась. Делегаты устали от непривычного напряжения. Впервые с партийного съезда такого уровня шла прямая трансляция по телевидению. В течение нескольких дней страна и делегаты были свидетелями и участниками резких публичных споров. Теперь надо было подводить итоги, и делегаты дружно голосовали за все резолюции подряд. За реформу политической системы. За борьбу с бюрократией. За усиление гласности, хотя и нынешний её уровень уже вызывал у многих тревогу.

Горбачёв должен быть доволен. Он произнёс заключительную речь. Отметил историческое значение конференции. Упомянул Ельцина, который просил политической реабилитации после снятия его с поста первого секретаря

Московского горкома партии, но большинство, чувствуя настрой генсека, снова обрушились на опального функционера. И в те минуты, когда все ожидали объявления о закрытии конференции, Горбачёв вдруг поднялся за столом президиума, быстро достал из левого внутреннего кармана пиджака какую-то бумажку и, переминаясь с ноги на ногу, с явным волнением произнёс:

— Давайте не будем откладывать реформу политической системы надолго и примем ещё одну, краткую резолюцию.

Уже расслабившиеся делегаты не сразу поняли, о чем речь. Никакой дополнительной резолюции у них на руках не было. А Горбачёв скороговоркой прочитал по бумажке текст, где главными были два пункта. Первое. До конца года провести реорганизацию партийного аппарата. И второе. На ближайшей, осенней сессии Верховного Совета СССР принять законы по перестройке советского аппарата, внести изменения в Конституцию страны, а также организовать выборы по-новому и уже в апреле 1989 года провести Съезд народных депутатов, на котором создать новые органы государственной власти.

Не давая никому опомниться, начал голосование:

— Кто за? Кто против? Воздержался? Принимается единогласно.

Зал оцепенел. Ни аплодисментов, ни весёлых возгласов по поводу конца работы. Только шум откидываемых сидений и негромкий ропот расходящихся людей.

Вспоминая потом этот момент, Янкин всякий раз удивлялся лёгкости, с которой Горбачёву удалось получить право на кардинальные перемены. Привыкшие подчиняться партийным руководителям и верить им на слово, делегаты своими мандатами узаконили путь в неизвестное будущее, которое никто даже толком не обсудил, не говоря о том, что никто не просчитал и последствий.

Глава третья

— Привет демократам! — услышала Наталья знакомый мужской голос и повернулась на него. К ней, обогнув группу депутатов, шёл Савельев. Худощавый, стремительный в движении, Виктор издали махал ей рукой и безозвучно улыбался.

— Здравсьте! — кивнула она, обрадовавшись возможности избавиться от своего собеседника. Стоящий рядом член “Демократической России” Сергей Юзенков насупился. Он ещё не всё сказал на диктофон Волковой о своей поездке в Эстонию, где вместе с тамошними депутатами выступал на митингах в поддержку их решения выйти из состава СССР.

Фактически республика уже считала себя свободной. В ночь с 12 на 13 января 1991 года Председатель Верховного Совета РСФСР Ельцин подписал в Таллине договоры с руководителями Эстонии, Латвии и Литвы о признании их независимости. Подписал от имени России, хотя огромная, бурлящая, растерянная Федерация такого поручения ему не давала. Не поручал этого и президент Советского Союза — мечущийся словоблуд Горбачёв. Ему только рассказали, что событие происходило глубокой ночью в старинном дворце на Тоомпеа, где когда-то сидели наместники российского императора, а потом — парламент советской республики.

— Вы тоже на съезд, Виктор Сергеевич?

При посторонних Наталья иногда называла Савельева по имени-отчеству. Из уважения. Он был старше её лет на десять.

— Тоже, тоже. Как он пройдёт без меня? Особенно внеочередной.

— Без вас, конечно, российские депутаты ничего не решат, — заметил Юзенков. Произнёс это с некоторой иронией, но не слишком вызывающе. Он знал, что Савельев известный и влиятельный в депутатской среде журналист. При его поддержке через газету, а особенно через “Телестемы с избирателями”, которые Савельев вёл на главном телеканале страны, десятка два кандидатов стали народными депутатами СССР. Сразу после выборов он собрал в редакции несколько заметных новичков, чтобы за “круглым столом” обсудить их возможные действия на предстоящем Первом съезде.

Юзенкову рассказывали, что именно с той встречи, где были Гавриил Попов, Тельман Гдяян, Святослав Фёдоров и ещё три человека, ведёт свою историю Межрегиональная группа союзных депутатов. Она быстро стала заметной силой и через год активно поддержала демократических кандидатов теперь уже в российский парламент. В том числе его — Сергея Юзенкова — бывшего майора, бывшего политработника воинской пожарной части, а теперь не последнего человека среди демократов. Поэтому в приветствии Савельева он услышал только уважение к себе и ничего больше.

Но Виктор в последнее время слово “демократ” всё чаще произносил с издевательским оттенком. Он даже знал, когда впервые пошатнулось очарование этого слова. Как ни абсурдно было для него, коррозия началась с Первого съезда народных депутатов СССР. А ведь именно этого съезда Савельев не только с нетерпением ждал, но и, в силу своих возможностей, приближал. Раскраивая время между газетой, телевидением, митингами, собраниями избирателей и встречами с кандидатами, Виктор энергично поддерживал тех, кто называл себя демократами и кого он сам таковыми считал.

Особенно среди них выделял Ельцина. Даже внешний вид этого высокого, издаലെка красивого мужчины с седой прядью на голове и трубным голосом говорил людям о сильной натуре.

На Ельцина Савельев обратил внимание, когда тот стал первым секретарём Московского горкома партии. В газетах заговорили о необычном руководителе. Ездит вместе с простым народом в городском транспорте. Внезапно заявляется в магазины и лично проверяет, какой товар припрятан. Трясёт московскую партийную и хозяйственную мафию. Снимает одного за другим секретарей райкомов. Рубит сплеча правду-матку заевшимся чиновникам.

Это очень нравилось народной массе. И для Савельева он тоже стал надеждой обновления.

Потом — невнятные пересуды о выступлении Ельцина на пленуме ЦК и снятие его со всех постов. За что? Чем не угодил Горбачёву? Наверняка критиковал власть и получил за это по голове. А раз так, значит, наш человек. Бунтарь и народный заступник.

Настоящая же всесоюзная известность Ельцина впервые окатила в дни 19-й партконференции. Благодаря прямой трансляции по телевидению его выступление слушали миллионы. Он обвинил власть в массовой коррупции и в отрыве от нужд народа. Если у нас чего-то не хватает, заявлял он, то нехватку должны чувствовать все без исключения. “За 70 лет мы не решили главных вопросов — накормить и одеть народ, обеспечить сферу услуг, решить социальные вопросы”.

По сути, он выражал мысли огромного количества людей. И они ответили ему признанием. В Госстрой СССР, куда был “сослан” Ельцин после московского горкома, мешками шли письма. “Опальному бунтарю” звонили со всех концов страны.

Неудивительно, что начавшаяся вскоре избирательная кампания сделала Ельцина символом демократии и главным кандидатом в народные депутаты СССР. За него самозабвенно агитировали тысячи людей. Написанными от руки листовками была оклеена вся Москва, где баллотировался Ельцин. Незамысловатые тексты выдавали искреннюю веру народа в своего заступника. Однажды, выходя поздно вечером из редакции, Савельев увидел, как худая, не по холоду одетая женщина клеит на стене лист бумаги. Виктор остановился. Чёрным фломастером было написано:

*Чешет коррупция лысое темя.
Пьют валидол с коньяком бюрократы.
Это ж какое, товарищи, время!
Ельцин с триумфом идёт в депутаты.*

— Нельзя валидол запивать коньяком, — сказал он активистке.

— Это нам нельзя. А им всё можно.

На выборах Ельцин легко, как волкодав котёнка, раздавил выдвинутого горбачёвцами директора московского завода. Люди вложили в него все свои надежды на перемены в жизни.

Ещё выше поднялась волна экзальтации, когда Ельцин необычным способом оказался в Верховном Совете СССР, куда стремились попасть многие из 2250 депутатов. Своё место, после активной обработки ельцинскими сторонниками, ему отдал омский юрист Алексей Казанник. С этого времени Савельев стал ещё пристальней наблюдать за Ельциным.

Правда, сначала внимание от партийного бунтаря отвлекли другие демократы. Прямые трансляции со съезда, не отрываясь, смотрела вся страна. Виктора поражало происходящее на глазах пробуждение народа. Фамилии новых людей, ещё позавчера неизвестные, вчера с непривычки трудно выговариваемые, поскольку многие были нерусскими, сегодня “отскакивали от зубов” спорщикам, словно много лет знакомые. Откуда-то из недр многомиллионной человеческой массы, до недавней поры сливающейся в одно большое лицо по имени “советский народ”, вдруг вышли, выпрыгнули, вытолкнулись индивидуальные лица, с разными голосами и со своими словами. Резкие, критичные выступления депутатов обсуждали в цехах и школах, на кухнях и в конструкторских бюро. Завернув однажды к знакомой пивнушке, Савельев с изумлением замер на подходе. Было тепло. Люди выходили из душного помещения и устраивались за уличными столиками. Но обычного гомона не было слышно. Всё перекрывали голоса из радиоприёмника, стоящего на одном столе. Отпивая пиво и стараясь не шуметь, мужики слушали трансляцию со съезда народных депутатов.

— Рабы встают с колен! — заявил на “планёрке” очередного номера Савельев, возмущившись намерением Бандаруха убрать из его отчёта все острые выражения депутатов.

— Да, да, — тихо, с гнусавинкой произнёс заместитель главного редактора. — Только кто им это позволяет? Михаил Сергеевич. А они его — без всякого уважения. Давайте не будем дискредитировать власть.

Но власть трудно было дискредитировать больше, чем это делала она сама. По Узбекистану прокатились погромы турок-месхетинцев, и никто за них не ответил. Когда депутаты спросили горбачёвского ставленника — Председателя Совета Национальностей Верховного Совета СССР Рафика Нишанова — узбека и недавнего руководителя республики, что там в действительности произошло, он с фальшивой восточной улыбкой, но при холодном взгляде объявил: “Ничего особенного. Из-за клубнички подрался на базаре”.

А в это время тысячи беженцев — впервые после Отечественной войны, искали спасения в соседних республиках и требовали помощи от Центра.

Никто не ответил по-настоящему и за карабахскую трагедию. Нацисты обеих сторон переводили стрелки друг на друга, а потом сообща — на Центр.

Центр, то есть Горбачёв, был действительно виноват. Самонадеянный болтун и недалёкий управитель, делая очередной шаг, совершенно не представлял, куда вляпывается, и чем после этого запахнет в стране. Во время пока ещё мирного карабахского напряжения он приехал в редакцию центральной газеты, где работал Савельев. В кабинет главного редактора пригласили всего несколько человек. В том числе — Виктора, как парламентского обозревателя. Горбачёв с отработанным пафосом, словно рядом и напротив сидело не с десяток слушателей, а была многолюдная аудитория, заговорил об успехах перестройки. Дождавшись подходящего момента, первый заместитель главного редактора спросил о Карабахе. Он был родом из Тбилиси, и происходящее на Кавказе сильно тревожило этого человека, в венах которого текла польская, грузинская, еврейская, русская и ещё какая-то кровь.

— Интеллигенция мутит воду, — сказал Горбачёв. — Знаю их всех. Зорий Балаян... Сильва Капутикян... К ним пристраиваются другие...

Савельев сидел напротив генсека. Их разделял неширокий стол. Виктор впервые увидел Горбачёва так близко. Взгляд невольно задержался на родимом пятне. “Действительно, меченый”, — подумал он и почему-то без всякого волнения сказал:

— Михаил Сергеевич, если вы знаете, кто раздувает карабахский пожар, назовите их публично. Пусть народы узнают, кто толкает их в беду. Вот где нужна гласность!

Горбачёв снисходительно окинул Савельева взглядом.

— Ты ничего не понимаешь. Нельзя усугублять ситуацию.

Через некоторое время ситуация взорвалась. Десятки тысяч простых людей оказались жертвами национал-амбиций ненаказанных экстремистов и политической близорукости человека, олицетворявшего власть в стране.

Впоследствии Виктор не раз встречал генсека лицом к лицу в перерывах на съездах народных депутатов. Однажды, споря с кем-то о Ельцине, не заметил подошедшего сзади Горбачёва. “Всё митингуешь?” После чего главный редактор велел Виктору вести себя аккуратней и не настраивать депутатов в пользу Ельцина.

Но Савельев не мог с этим согласиться. Наблюдая за действиями Горбачёва, он видел, как власть всё сильнее перекашивается в сторону Яковлева. Даже если бы “серый кардинал” не имел второй по влиянию должности в партии, его могуществу вполне могло хватить одного оружия — гласности. Хотя гласность продолжала ассоциироваться с Горбачёвым, многие начали понимать, что это оружие давно перехватил Яковлев и с каждым днём расширял его убойную силу. Особенно после 19-й партконференции, для которой он подготовил специальную резолюцию. И тем самым оградил себя от любых попыток усомниться в правильности использования этого оружия массового поражения. Яковлев лично подбирал руководителей газет и журналов. С ним согласовывались самые разгромные публикации и видеоматериалы. Под лозунгами борьбы за демократию, за ликвидацию “белых пятен” в советской истории и за свободу слова, “хромой бес”, как его однажды в разговоре с Савельевым назвал Андрей Нестеренко, повернул всю разгромную мощь подконтрольных ему средств массовой информации против той самой социалистической Системы, которой, за хорошие деньги и блага, служил несколько десятилетий своей жизни и за любое покушение на которую жёстко карал сомневающийся.

Размышляя над ситуацией, Виктор пришёл к мысли, что выправить образовавшийся перекос в сторону Яковлева можно лишь одним способом. Дать Горбачёву второе “крыло”. И стать им мог Ельцин. Бесшабашный “саблеруб”, смелый и вроде бы нормально понимающий демократию борец за необходимые обновления, Ельцин уравновесил бы разрушительное влияние “хромого беса” на теряющего ориентиры Горбачёва. А для этого надо было сделать так, чтобы Ельцин занял единственное, остающееся пока что вакантным, важное место в иерархии высшей власти страны — пост председателя Комитета конституционного надзора СССР. Именно должность сурового надзирателя за соблюдением Конституции лучше всего подходила, на взгляд Виктора, для Ельцина, а главное — очень нужна была для государства.

Но чтобы “взгромоздить” бунтаря на такую труднодоступную высоту, требовалось подготовить депутатов, которые должны на Съезде утвердить предложенную кем-то кандидатуру.

Первым делом Савельев взялся за “своих”. Человек десять согласились с его доводами. Однако другие повели разговор уклончиво. Кто он такой — этот Ельцин? Мы его мало знаем. Не использует ли очень влиятельную должность для иных целей? А с депутатом из Удмуртии Виталием Соловьёвым Виктор почти рассорился. До того момента ему казалось, что успел неплохо узнать этого рослого, немногословного мужчину с привлекательным волевым лицом и светло-русыми волнистыми волосами. Соловьёв больше слушал журналиста, чем говорил сам. В тот раз он тоже долго не перебивал Виктора, энергично внушавшего депутату, какой надёжный человек Ельцин, как он будет противостоять влиянию Яковлева и при этом полезно воздействовать на Горбачёва. Когда журналист приостановился, Соловьёв коротко сказал:

— Я не буду его поддерживать ни в чём.

— Ты што, Виталий, в своём уме? Ельцин из тех, на кого только и можно опереться.

— Приглядись повнимательней, Виктор. Он фальшивый человек. Ему нельзя давать власть.

“Что за люди приходят в депутаты! — с огорчением подумал Савельев. — Не способны разглядеть перспективного политика”.

Без энтузиазма отнёсся к предложению Виктора митрополит Ленинградский и Новгородский Алексей. Журналист некоторое время колебался: как обратиться к духовному лицу? Как все: “Ваше Высокопреосвященство”? Или, но напрягая себя, по имени-отчеству. Знакомый с биографиями всех депутатов, он знал, что митрополит в миру — Алексей Михайлович Ридигер. Поэтому с некоторым волнением начал:

— Вы меня извините, пожалуйста, Алексей Михайлович. Я человек светский, журналист... Можно мне так к вам обратиться?

— Можно, можно, — улыбнулся митрополит.

— Вам, наверно, известно, что в Верховном Совете готовится закон о Комитете конституционного надзора СССР. Его примут, и встанет вопрос о председателе. Есть разные предложения. Одна из кандидатур — Ельцин. Как вы к нему относитесь?

Благообразное лицо Алексея почти не изменилось. Только немного сдержанней стал взгляд, и в глазах появилась озабоченность.

— Церковь долго испытывала трудности. Она много пережила. Сейчас положение несколько меняется... Меняется к лучшему. Нам не хотелось бы снова потерять приобретённое. А политика... Политика всегда занимает чью-то сторону. Нам, наверно, не пристало втягиваться в политику. Это не дело Церкви...

Савельев не знал, что в эти дни в высшем руководстве Церкви идёт никому не видимая в светском обществе борьба за то, кто станет новым Патриархом. Прежний Патриарх Пимен умер 3 мая 1990 года, и на главный церковный пост претендовали несколько человек. В том числе — митрополит Алексей.

Тем не менее, Виктор понял: этот седобородый, крупнолицый человек в белом клобуке на голове и со значком народного депутата СССР на рясе не хочет ввязываться в опасную для Церкви борьбу между разными жерновами власти.

Настороженно отнёсся к предложению Савельева и главный редактор журнала “Огонёк” Виталий Коротич. Послушав рассказ Виктора о Ельцине, задал единственный вопрос:

— А он не антисемит?

Савельев с удивлением пожал плечами. Интересовать могло, что угодно. Но почему это для Коротича оказалось самым важным?

— Вроде нет, — в раздумье сказал Виктор. И мысленно перебрав в памяти окружение Ельцина, уже уверенней заявил:

— Нет, разумеется. Какой он антисемит, если рядом столько евреев!

Агитируя депутатов, Савельев в то же время не забывал о Ельцине. Как он сам-то отнесётся к идее журналиста? Наконец, Виктор решил, что пора переговорить с кандидатом. После одного из заседаний Съезда народных депутатов СССР догнав идущего к Боровицким воротам Кремля Ельцина. Тот шёл со своим идеологом — бывшим журналистом из “Правды” Полтораниным. Савельев знал его. Сначала заочно — оба работали какое-то время в Казахстане от разных газет. Потом вместе оказались в Москве. Когда Ельцин поставили первым секретарём Московского горкома партии, он уговорил Полторанина возглавить городскую газету. После снятия Ельцина не у дел оказался и его пресс-идеолог. Это развязало ему руки. Полторанин стал лепить из Ельцина народного героя. Поскольку никто не знал, что в действительности говорил московский секретарь на том пленуме ЦК, где его отстранили от должности, Полторанин сочинил фальшивое выступление своего патрона и начал распространять несуществующую речь. “Подмётная грамота” оказалась как нельзя кстати. Те, кто читал текст, видели, что Ельцин критикует Горбачёва, коррупцию в высших эшелонах власти, выступает против привилегий партийного аппарата. Пересказывая прочитанное, люди добавляли своё. Особенно популярными становились критические слова, якобы, сказанные Ельциным о жене Горбачёва — Раисе Максимовне. Живёт, мол, она, как королева. Тратит народные деньги на дорогие украшения и наряды, а Михаил Сергеевич только потакает ей во всём и руководит страной по указаниям жены.

Придуманная Полтораниным речь сделала Ельцина популярным борцом за справедливость. А выступление на 19-й партконференции к тому же добавило трагических красок в ореол жертвенности. После чего народ на руках внёс Ельцина в депутатскую власть.

Однако не согласись романтик-демократ Казанник уступить ему своё место, о чём его усиленно просили сторонники Бориса Николаевича, Ельцин просто затерялся бы среди двух с лишним тысяч депутатов. Став членом Верховного Совета и возглавив комитет по строительству, он приблизился на несколько ступенек к солнцу власти. Теперь, как рассчитывал Савельев, Ельцин мог сменить малозначительный комитет в парламенте на куда более серьёзный. И не только для него. Факты посягательства на Конституцию страны становились угрожающими, а Горбачёв, словно парализуемый, не предпринимал решительных противодействий.

— Борис Николаич, минутку!

Вместо Ельцина обернулся Полторанин. Виктор ещё не знал, что правое ухо у Ельцина не слышит совсем и говорить надо громче.

— А-а, Витя! — широко улыбнулся Полторанин, плотный пятидесятилетний сибиряк, не на много уступающий Ельцину в росте. — Хочешь сделать с Борис Николаичем материал? Но в вашей газете его всё равно не дадут.

— Нет, я по другому поводу. Помнишь, я говорил тебе о противовесе Яковлеву? Ты не спрашивал шефа, как он отнесётся к этой идее?

— Закрутился, старик... А спроси его прямо сейчас!

Ельцин обратил внимание на Савельева, сунул на ходу руку.

— Борис Николаич, есть одна идея, — сказал Виктор, пожав твёрдую ладонь. — Можно сильно повлиять на Горбачёва.

— Как? — остановился Ельцин.

— Стать председателем Комитета конституционного надзора СССР. Сейчас ваш строительный комитет... Конечно, он важный в Верховном Совете... Но по сравнению с надзорным, извините... А там вы всех расставите по своим местам. Конституция — это священная корова. Основной закон! Кто нарушил его... высунул голову за рамки — бац! Гильотина закона отрубает голову.

Ельцин хрипло рассмеялся.

— Интересно! Хорошо. Но перекроют... Своих заставят лечь... эта... на амбразуру.

— А мы других поднимем!

Полторанин тоже загорелся.

— А што, Борис Николаич! Демократия получит ха-ароший инструмент. Неплохая мысль у Савельева.

Ельцин заинтересованно посмотрел на Виктора, мощно вдохнул воздух. Было начало июня. В Александровском саду цвела сирень, и её тонкий волнующий запах доходил до Боровицких ворот. Савельев расслабил галстук — ко второй половине дня становилось жарко, приветливо улыбался, однако при этом внимательно следил за Ельциным. А тот вдруг нахмурился и, словно преодолевая какую-то преграду, разочарованно сказал:

— Это ж значок надо будет сдавать.

— Какой значок? — не понял Савельев.

— Вот этот, — бережно тронул Ельцин красный эмалированный значок на лацкане пиджака. — А что получу взамен? В любой момент переизберут.

— Ну, зачем же так? — протянул Виктор. Он ещё не знал, должен ли будет депутат, избираемый председателем этого комитета, слагать с себя полномочия народного избранника. Закон пока готовился, и рассматривались разные предложения. В том числе — недопустимость членства в других организациях. Но даже в этом случае Председатель Комитета конституционного надзора СССР оказывался по влиянию выше всех вместе взятых депутатов в Верховном Совете, не говоря про какой-то Комитет по строительству и архитектуре.

Однако Ельцин уже потерял интерес к предложению Савельева. Во-первых, как догадался Виктор, тот сообразил, что это не его стихия. Ему нужно было поле для более простых решений. А, во-вторых, синица власти в ру-

ках была важнее журавля неопределённости в небе. И хотя неприязнь к Горбачёву он даже не скрывал, выходить на опасную конфронтацию “бунтарь” побоялся.

Расстроенный Савельев первый раз поглядел на Ельцина с разочарованием. Однако этот незначительный эпизод оказался тем камнем, который впоследствии толкнул лавину. Отмечаемые им прежде критические факты и нехорошая молва о “былинном герое” стали через некоторое время восприниматься по-другому. Имея множество знакомых в разных учреждениях и структурах — от редакций до правоохранительных органов — Виктор в новом свете увидел и состоявшееся вскоре американское путешествие Ельцина, и его последующее падение с моста в подмосковном дачном посёлке, и слова о приверженности демократии. Когда по телевидению показали сюжет с пьяным Ельциным в США, Савельев сразу поверил, что это был никакой не монтаж, как кричали всюду ельцинисты и уверял сам Борис Николаевич, а всего лишь деталь большой зарубежной пьянки “подающего надежды” противника Горбачёва. И толкнули его в речушку вовсе не политические противники, а ревнивый соперник ельцинской “дамы сердца”, о чём Виктору говорили люди, проводившие расследование

Встретившись с несколькими уральцами, Савельев узнал немало поразительного из свердловской жизни Ельцина. О его наследственном алкоголизме. О демонстративной способности пить водку сразу из горлышек двух бутылок. О жестокости и мстительном характере первого секретаря обкома партии.

“И это у нас такие демократы?” — удивлялся через некоторое время Савельев, думая уже не только о Ельцине, но и о других людях, присвоивших себе ко многому обязывающее звание. Требуют свободы для себя, однако не признают свободы других. Критикуют слова Горького: “Если враг не сдаётся, его уничтожают”, а сами готовы разорвать любого, кто выступает против их убеждений. “Да какие там убеждения! — мысленно возмущался Савельев. — Набор несвязных фраз и обкусанных мыслей”. Ему не раз говорили с неудовольствием близкие ельцинские сподвижники о том, что “у Бориса Николаевича нет никакой экономической и политической программы”. Только призывы ограничить власть Центра.

Разговаривая с людьми, объявившими себя демократами, наблюдая за их реакцией на происходящее, Виктор, чем дальше, тем больше убеждался в том, что люди эти имели самое смутное представление о настоящей, подлинной демократии. А главное — они и не собирались быть такими, на кого вроде бы должны ориентироваться в своём поведении, в отношении к носителям других взглядов и мнений. Отечественные демократы признавали только свои методы борьбы с несогласными. Методы убеждения через уничтожение. Поэтому между ними и теми, чьё наименование они брали, было столько же сходства, сколько между мухой и орлом. У той и другого есть крылья, у обоих есть глаза, оба летают, но на этом общее и заканчивается. Объединительное слово “демократы”, которое приняла на себя разношёрстная публика, было всего-навсего самоназванием. Таким же, какое брали себе предки нынешних народов, чтобы отличаться от соседей, и которое сегодня не имеет никакого отношения к первоначальному смыслу. Албанцы сами себя называют “шкиптар”. Дословно переводится, как “горные орлы”. И даже если предки человека последние лет двести прожили в городе, если он в горах никогда не бывал, он всё равно “шкиптар”. Одна из ветвей американских индейцев апачей называет себя “пятнистый сверху народ”. У сегодняшнего потомка этого народа, ставшего врачом или адвокатом, если и появляется пятно сверху на одежде, то разве что от сока или вина. Самоназвание другого племени переводится, как “народ дикообраза, сидящего сверху”. Где сейчас найдёшь дикообраза, да ещё посадишь его сверху, трудно сказать. Однако люди по традиции продолжают называть себя так.

Но они хоть имеют кровное, родовое отношение к давнему самоназванию, думал Савельев. А наши “демократы” взяли только имя, отбросив суть. И под этот широкозахватный щит втягиваются новые и новые люди.

После Первого съезда народных депутатов СССР, который начался со скандалов в прямом эфире о разгоне митинга в Тбилиси, об оккупации При-

балтики, о пакте Молотова–Риббентропа, “демократическое тесто” стало расти, как на дрожжах. Многие сообразили: чем громче крик, тем больше шансов выбраться из тьмы вчерашней неизвестности. А иногда — единственная защита от заслуженной тюрьмы. Надо только объявить себя демократом, расклеить листовки с извещением об этом событии и всеми действиями, всем видом своим изображать “демократическую народность”. В те дни, недели и месяцы “опрошение” стало важным условием получить поддержку масс. Следователи Генпрокуратуры Иванов и Гдлян за свои “разоблачения узбекско-кремлёвской мафии” триумфально вошли в народные депутаты СССР. Но вскоре эта площадка политической надёжности заколыхалась под героями, как зыбкое болото. По жалобам десятков незаконно обоглаженных, истязаемых, как в гестапо, людей начались серьёзные проверки. Перед следователями-демократами вместо парламентской скамьи замаячили тюремные нары. И тогда “гонимые” обратились к народу. Опубликовали в газетах манифест, который заканчивался требованием “сбросить ненавистную, антизаконную политическую клику, ведущую страну к социальной катастрофе”. А чтобы прямой призыв к свержению государственной власти, караемый по закону тюрьмой, выглядел спасением не самих себя, а страдающего народа, был использован известный с древнейших времён способ. Предстать перед массами в образе “простых людей из толпы”, обоглаженных властью до нитки. Однажды Савельев сам увидел этот спектакль. Собрав в редакции несколько народных депутатов СССР, он с интересом наблюдал за Тельманом Гдляном. Невысокий, худощавый армянин во время своего нервного, экспрессивного выступления то и дело приподнимался на носки, как будто хотел взлететь. “Чево он прыгает? — подумал Виктор и, опустив взгляд, замер: тёмные полуботинки Гдляна были перевязаны светлыми бечёвками. “У него нет денег купить новую обувь? — удивился Савельев. — Нет возможности отремонтировать эту?” И только приглядевшись к демонстративно бросающимся в глаза завязкам, понял: идёт игра на публику.

Такой же приём использовали и другие лидеры демократических сил. В тесных пиджачках, которые давно были приготовлены на выброс, в стоптанных ботинках и кое-как повязанных галстуках — некогда красоваться, брат — они старались выделиться на митингах и собраниях среди нормальной опрятности оппонентов. Некоторые, больших лет граждане, рассчитывая привлечь внимание молодёжи, одевались под юнцов. Напяливали куртки и джинсы “варёнки”, объёмные свитера с откидными воротниками. Народным массам должно было быть видно, что за их нужды борются люди из их же среды. Не имеющие денег на богатую, как у власти, одежду. Не располагающие современными техническими возможностями агитировать за себя и за своих демократических кандидатов.

В ходе избирательных кампаний Савельев обратил внимание на большое количество рукописных листовок с броскими, иногда остроумными, чаще — сердитыми в адрес власти призывами. Они были написаны фломастерами, маркерами, порой даже авторучками. Словно простые люди — на кухнях, в комнатах коммунальных квартир, в учительских, на кульманах в каких-нибудь НИИ — писали с утра до ночи призывы. Это создавало впечатление “народной агитации” с участием многотысячных масс, ибо всем было ясно: возможности одного-двух-трёх человек, какими бы они ни были активными, ограничены.

Но однажды, случайно приглядевшись к листовкам, Виктор с удивлением заметил, что вся агитационная “народность”, оказывается, отпечатана на ротаторах и ротапринтах. А эта техника, как ему было известно, может выдавать от 5 до 9 тысяч экземпляров в час.

Впрочем, на это уже не обращали внимания. Разношёрстное демократическое сообщество быстро росло и пополнялось людьми, зачастую совершенно чуждыми друг другу. Сторонники более эволюционного перехода к демократии оказывались в одной колонне с озлобленными неудачниками, уязвлёнными себялюбцами, мстительными завистниками, которых прибавлялось в геометрической прогрессии. Демократы-романтики с ужасом смотрели на стремительный разлив моря нетерпимости, шарахались от своих вро-

де бы идейных собратьев, которые в беспощадности к инакомыслию не уступали большевикам Октябрьского переворота. Эти масс-демократы были как термиты, готовые броситься с острыми клешнями — резцами на всё, что окажется на пути. На военно-промышленный комплекс, на советскую систему, на Горбачёва, друг на друга. Причём друг друга грызли насмерть, словно верующие одной религиозной конфессии, но разных течений.

Пока термитная масса грызла разнонаправленно, толку от неё было немного. Требовалось объединить челюсти-резцы под одним лидером и направить колонны на главные столпы. В коллективном руководстве Межрегиональной группы это понимали, но договориться между собой не получалось. Экономист Попов презирал партократа Ельцина. Академик Сахаров недолюбливал обоих. Ректор историко-архивного института Афанасьев критически смотрел на всех.

После внезапной смерти Сахарова организаторы термитных колонн решили, что надо делать ставку на Ельцина. Он был популярнее всех. Ему создавали образ самого большого демократа, борца с привилегиями и выразителя народных чаяний. При этом, что не укладывалось в пастораль, тщательно скрывали. Тому самому народу показывали скромного лидера, который идёт не через привилегированный депутатский зал в аэропорту, а как все, через обычный выход; возится с обыкновенным “Москвичом” в окружении простой советской семьи; ходит в рядовую поликлинику и ест, как плоть от плоти народа, колбасу за два двадцать. На самом деле это была пропагандистская ложь. Не только “Москвича” — никакой другой машины Ельцин водить не умел и в них не разбирался. Его всегда возили, на столы ставили продукты, недоступные миллионам людей, особенно в дни искусственно создаваемого голода, а где находится обычная поликлиника, он не представлял.

Но об этом знали немногие и даже, если бы они стали рассказывать обо всех “несоответствиях” реальной жизни Ельцина его сказочному образу, большинство народа не поверило бы. Настолько разительным становился контраст между слабловольным болтуном Горбачёвым и решительным демократом Ельциным.

Особенно после выборов народных депутатов РСФСР весной 1990 года. Во многих округах победили демократы. Сам Ельцин легко и убедительно выиграл борьбу в Свердловске — набрал 84 процента голосов. Открывалась дорога к власти. Пока над Россией. Но всё чуть было не сорвалось. Прояви Горбачёв немного больше дальновидности и меньше беспечности, не быть бы Ельцину Председателем Верховного Совета РСФСР.

Съезд народных депутатов России открылся в Кремле 16 мая. Савельев каждый день приходил туда, чтобы дать репортаж в номер. И возвращался в редакцию растерянный — писать было не о чем. В зале творилось что-то невообразимое. Самые отвязные, взяв на вооружение опыт первого дня работы Съезда союзных депутатов, когда трибуна захватывалась явочным порядком, пытались повторить то же самое в новых условиях, чтобы сделать своё заявление. Их оттаскивали, не пускали. В проходах поставили микрофоны. Кому-то удавалось пробиться к ним, однако никто никого не слушал. Находящиеся в зале вскакивали с мест, орали что есть мочи какие-то лозунги, призывы, осуждения. Каждый считал только свою идею правильной и только свою кандидатуру достойной. Тысяча с лишним депутатов представляли собой хаотичную, абсолютно неуправляемую массу совершенно различных людей.

Не подобрав достойных соперников Ельцину, Горбачёв улетел в Канаду. За границей он уже давно чувствовал себя уютней, чем в мятущейся, управляемой другими людьми родной стране. Но и в этих условиях Ельцин победил с большим трудом. Через две недели митинговых страстей, тайной обработки депутатов, обнадеживающих посулов оппонентам, не с первого, а с третьего раза, он набрал всего на четыре голоса больше необходимого минимума и был избран Председателем Верховного Совета РСФСР.

С момента избрания главой российского парламента Ельцин стал как бы официальным знаменем демократических отрядов. Их вожаком и тараном, которым они пробивали стены советской крепости. Он был им нужен.

Без него масс-демократы рассыпались бы на множество грызущих друг друга термитов.

Но и они ему были нужны. Без них вождь остался бы никчемным одиночкой, а таран — бесполезным бревном. Именно в этот период началась активная работа всех тех, кто понял, что в борьбе с Горбачёвым за власть Ельцин пойдёт на что угодно, а потому его нужно поддерживать любыми способами.

12 июня 1990 года митингующий Первый съезд народных депутатов РСФСР под председательством Ельцина принял Декларацию о суверенитете России. Это стало сигналом для других. Не только союзных, но и автономных республик. И даже автономных округов. Все торопились объявить о независимости и проглотить суверенитета как можно больше.

Съезд союзных депутатов принимает решение провести в марте 91-го года Референдум о сохранении СССР — Ельцин призывает бойкотировать его. Союзные депутаты избирают Горбачёва Президентом страны — демократы в российском парламенте, с подачи Ельцина, поднимают волну о необходимости поста Президента в РСФСР.

И вот для этого, сразу после Референдума, они созывают свой внеочередной съезд, на котором Савельев встретился с Натальей Волковой и демократом Юзенковым.

Глава четвёртая

— Ну, што наша демократия вещает вам, Наташа? — показал Виктор на диктофон, который Волкова держала в руках. — Рассказывает, как устроить профсоюз советских президентов?

— Какой профсоюз? Ерунду вы говорите, — обиделся Юзенков. Он был худощав, темноволос, со следами плохо вылеченного фурункулёза на щеках и прямом лбу, отчего лицо походило на иссечённую крупной дробью мишень.

— А как же! Сейчас вы придумаете президента России. За вами побегут остальные. Представляете, Наташа: президент Тувы! Триста тысяч населения — пол-московского района. Или Чукотки президент. Всю страну можно уместить в трёх домах на Ленинском проспекте. Зато каждому — министр иностранных дел, охрану, армию... Одних персональных самолётов — пол-“Аэрофлота”.

Савельев вперил злой взгляд в юзенковскую “мишень”.

— Вы чево творите, орлы с каржиными* перьями? Страну хотите совсем разорвать? Вам референдум не указ? Вы же любите ссылаться на народ. Вот он сказал вам своё слово. Подавляющее большинство за Союз, а вы ему — Декларацию о суверенитете России. Остальные, дескать, пошли все вон!

— Хватит грабить Россию! — вскричал Юзенков. — Мы производим 61 процент национального дохода СССР, а по уровню потребления занимаем последнее место. Лучше нас живут все республики.

— Это правильно, — сказал Савельев. — Я вам даже могу добавить фактов. Подоходный налог из России весь уходит в союзный бюджет, а Грузия, Литва, Эстония, Латвия всё оставляют себе. Большинство республик производят меньше, потребляют больше. У той же Грузии потребление в четыре раза больше, чем она производит. У прибалтов этот показатель не намного ниже. Потому они и живут лучше. В том числе за счёт России. В наших сёлах на каждые 10 тысяч гектаров пашни — не просто территории, а пашни, отметьте себе! — дорог с твёрдым покрытием около 12 километров, а в Прибалтике 70 с лишним.

— Ну, вот! Вы сами подтверждаете нашу правоту. Только так и надо было поступить.

— Да нет, не так. Горбачёву нужно было, когда он имел почти стопроцентную поддержку всей страны, поправить законами эту политику.

* Карга — ворона (южно-русск.) (прим. авт.).

— Сейчас, наверно, поздно об этом говорить, — с сожалением заметила Наталья. — Сергей Николаич рассказывал мне, как он ездил в Эстонию. Там после признания Ельциным их независимости прыгают от радости.

— А при чём здесь Ельцин? Есть союзный закон о порядке выхода.

— Да не будут они на него оглядываться! — сказал Юзенков, помахав рукой кому-то из депутатов. Народу прибывало, вестибюль опять гудел, как во время Первого съезда. — В Таллине только об этом и говорили. Они считают нас оккупантами и хотят быстрее отвалить из империи.

— А вот хрена им! Простите, Наташа... Кто-й-то сейчас говорил, что Россию обирают? Уж будьте тогда последовательны. Вы пустили зятя в дом, накупили ему мебели... телевизор японский достали — вам привезли за большие деньги из-за границы. От себя отрывали... Считали: одна ведь семья. А он вдруг решил уйти и всё на него потраченное забрать с собой.

— Будьте благороднее, — засмеялся Юзенков. — Это компенсация за нашу оккупацию.

— Ну-ка, ну-ка, — включила диктофон Наталья. — Расскажите нам про оккупацию, после которой захватчик беднеет, а жертва богатеет.

— Лучше я вам расскажу, Наташа. А заодно нашему демократическому деятелю. Может, пригодится, когда снова поедет туда. В последнее время пришлось стать экономистом — полмесяца работал с тремя профессорами. Очень дотошные люди. Так вот... Сергей... Николаич? (Виктор вопросительно поглядел на Юзенкова. Тот снисходительно кивнул) За сорок пять лет нашей “оккупации” — я это слово, как вы догадываетесь, беру в кавычки, объём выпуска продукции в Эстонии вырос в 55 раз. Вы себе как-нибудь представляете эту разницу, Сергей Николаич? 55 раз! Ваши прибалтийские... ну, уж не знаю, как сказать: друзья? коллеги? соратники? с холодной чопорностью вам говорят — это чтоб вы прониклись к ним доверием — будто в двадцатых-тридцатых годах в этих независимых странах существовала высокоразвитая рыночная экономика. Стопроцентная брехня! Промышленность Эстонии и Латвии, а они были более развиты, чем Литва, не достигла даже уровня 1913 года! В сороковом году, когда они вошли в состав СССР, объём машиностроительной продукции Латвии составлял всего 40 процентов от тринадцатого года! А что у нас уже было к этому времени, помните? Хотя бы по книжкам. Из общей казны, а в основном, как вы правильно говорите, за счёт России, в сельское хозяйство одной только Эстонии было вложено 6 миллиардов рублей. Подчёркиваю вам: только в сельское хозяйство 6 миллиардов!

“Оккупанты” за четыре с половиной десятилетия — срок-то, в общем, небольшой — построили в Эстонии электростанции, различные заводы, дороги, аэродромы, корабли. Да что там мелочиться — глубоководный Новоталлинский порт обошёлся советскому бюджету — вы сейчас предпочитаете считать в американских рублях — в 6 миллиардов долларов!

Савельев снова, как неделю назад, разволновался. Тогда он потребовал обсудить на редколлегии подготовленную им статью трёх авторов. Это были неизвестные ему профессора из Института экономики, что, впрочем, для Виктора не имело никакого значения — за последние годы все ныне известные вышли из вчерашних неизвестных.

Сначала был телефонный звонок. Мужчина представился, назвал все свои звания. Ровным голосом сказал, что сегодня пресса обсуждает только решения прибалтийских республик о выходе из состава СССР, но никто не говорит о правовой стороне этого дела и, тем более, об экономической ответственности. А в действительности всё не так просто, сказал профессор. Мы с коллегами проанализировали экономические и социальные аспекты пребывания Литвы, Латвии, Эстонии в составе Советского Союза и полагаем, что общество должно знать об этом.

Савельев с удовлетворением ухватился за предложение, поехал в институт. Авторами оказались приятные люди. Это был микроинтернационал. Лидировал в троице пятидесятилетний выходец из Эстонии — невысокий лысоватый мужчина с живыми карими глазами Илья Рувимович Гольдман. “Пристяжными”, но со своими чётко выраженными позициями, были его моло-

дые коллеги — украинец из Чернигова Василий Игнатьевич Петренко и чистейший “русак” из Костромской области Сергей Иванович Смирнов.

Виктор прочитал написанное ими и попросил переделать. Авторы очень резко критиковали национальную политику Горбачёва, а это, знал Савельев, было абсолютно непроходимо в газете. “Главное — экономика, — сказал он, — на неё надо напирать”.

После этого они ещё встречались в институте и дважды в редакции. Профессора курили сигарету за сигаретой, в кабинете было дымно, чего Савельев не выносил, хотя сам курил тоже. “Вы, как три паровоза Черепанова”, — морщился он, открывая форточку и дверь. “Паровозы” не обращали внимания и шумно оттаивали свои цифры, доставая из портфелей статистические справочники, какие-то монографии и книги на разных языках. Наконец, статья была готова. Савельев назвал её “Сколько будет стоить нам развод устроить?”

Насколько знал Виктор, и это подтверждали авторы, никто ещё в советской прессе такого анализа не делал. Профессора подробно рассказывали о том, как, благодаря включению в общероссийский рынок, стала развиваться в конце XIX — начале XX веков промышленность будущих Эстонии и Латвии, как потом резко деградировала их экономика в период независимости — в 20–30-е годы, и какие вливания получили три прибалтийские республики за советское время.

Делая поправки на особенности советского ценообразования, закрытость внутреннего рынка, специфику финансовой системы СССР, авторы убедительно показывали, за счёт чего создавалось отличающееся от других благополучие прибалтийских республик. Согласно перспективному планированию, большинство созданных здесь отраслей подпадали под особую государственную протекцию, а значит, имели определённые преференции. У произведённой тут продукции была более высокая стоимость по сравнению с заниженными ценами на сырьё, которое поставлялось для её выпуска. Благодаря этому национальный доход прибалтийских республик создавался за счёт присвоения части национального дохода других республик страны. И составляло это, например, для Латвии полтора миллиарда рублей в год, или больше пятой части всего произведённого ею национального дохода.

Поэтому в Прибалтике жили богаче, что видно было даже по такому показателю, как размеры банковских вкладов. Авторы приводили цифры, и они сильно отличались от общесоюзных.

Отдельная главка рассказывала о построенном здесь за короткий советский период. Сначала этот раздел занимал много места, но профессора согласились с Виктором, что всё не назовешь — газета не брошюра, и оставили только крупное.

Особенно любопытными были сведения по Литве. Если на латвийских и эстонских территориях ещё при царской России существовала некоторая промышленность, то Литва до 1940 года была почти полностью аграрной. На 3-миллионное население приходилось 40 тысяч рабочих. Крупными предприятиями считались три фабрики: чулочная, табачная и спичечная. На остальных кустарных производствах работало самое большее по пять человек.

Один абзац Виктор хотел вычеркнуть, но по настоянию авторов оставил. Они приводили свидетельство бывшего президента Литвы Казиса Гринюса, который в 1939 году обследовал 150 крестьянских хозяйств. По его словам, 76 процентов крестьян носили деревянные башмаки и только два процента — кожаные ботинки. Всего один процент женщин имели ночные рубашки, почти пятая часть обследованных женщин не пользовались мылом, в 95 семьях из 150 обнаружены паразиты.

Тот же бывший президент писал, что в Литве у 150 тысяч человек — туберкулёз, почти 80 процентов детей больны рахитом, смертность превышает рождаемость.

Эти свидетельства, настаивали профессора, лучше покажут, какой скачок сделала Литва за короткий советский период.

Действительно, сравнить было с чем. “Оккупанты” построили десятки крупнейших предприятий, создали надёжную транспортную инфраструктуру,

преобразовали сельское хозяйство, выстроили материальную базу для социальной и культурной сферы, вкладывая во всё это громадные деньги. Республика постоянно получала из союзного бюджета примерно в 3 раза больше капитальных вложений, чем ведущие области Российской Федерации. Только за 15 лет — с 70-го по 85-й годы — Литве было выделено на мелiorацию почти столько же средств (свыше 1 миллиарда рублей), сколько соседней Белоруссии, хотя та в три с лишним раза больше. В советские годы была построена паромная переправа из Клайпеды в Германию стоимостью примерно в 3 миллиарда долларов. Открыт аэропорт под Шауляем (один миллиард долларов). Это не говоря о Мажейкском нефтеперерабатывающем заводе, мощной Литовской ГРЭС с городом поблизости и, наконец, Игналинской атомной электростанции. Её сначала намечалось построить в Белоруссии. Выбрали Литву. Станция оказала огромное влияние на экономическую и социальную жизнь республики. Производство электроэнергии по сравнению с 1940 годом выросло в 258 раз. Это позволило полностью электрифицировать все города и населённые пункты, вплоть до хуторов. Механизация сельского хозяйства приблизилась к уровню развитых европейских стран.

На фоне свидетельства президента досоветской Литвы впечатляюще смотрелись данные о современном состоянии науки, культуры, социальной сферы. По количеству студентов на 10 тысяч жителей Литва шла впереди Японии, Англии, ФРГ. Появились новые театры, которые получили красивые современные здания. Архитектурная раскованность в застройке городов и посёлков привлекала внимание специалистов из других республик.

Такие же перемены во всех областях жизни произошли за 45 лет и в двух других республиках. Перед вступлением в Советский Союз главным экспортom Прибалтики были масло, яйца и лесоматериалы, поскольку иных видов продукции не существовало. То немногое, что выпускалось из промышленного до революции, в годы независимости, за неимением сырья и спроса, зачахло.

Образованием могли воспользоваться немногие. В сороковом году в Латвии на 10 тысяч человек населения насчитывался 51 студент. Через сорок пять лет, в середине восьмидесятых — 180. В течение двух десятилетий независимости в той же Латвии работало всего 8 тысяч специалистов с высшим образованием. В начале восьмидесятых вузы республики каждый год выпускали по 7 тысяч специалистов.

Поскольку прибалтийские республики, писали авторы, решили выйти из состава СССР, надо сесть, всё посчитать, определить, кто, кому, сколько должен, и цивилизованно развестись.

При этом не забыть и другие вложения. В 1939 году Советский Союз передал Литве Виленский край, входивший до революции в состав России, а потом оккупированный Польшей. В том же году Германия захватила Клайпеду, переименовала в Мемель и включила этот порт, с прилегающими территориями, в состав Кенигсбергского округа. Весной 45-го после тяжёлых боёв и больших потерь советские войска выбили немцев отсюда. По логике даже не оккупантов, а нормальных победителей Мемель-Клайпеду требовалось присоединить к Калининградской области России. Но правительство СССР отдало политую кровью советских солдат землю Литве. Благодаря таким добавкам площадь республики значительно увеличилась.

В статье трёх профессоров был ещё один пассаж, который, по мнению Савельева, мог вызвать сопротивление Бандаруха. Авторы резко оценивали сравнения прибалтийскими национал-экстремистами “советской оккупации” с фашистской и намерение устроить для СССР “второй Нюрнбергский процесс” за расправы над якобы мирными жителями, к которым они относили вооружённое подполье. Отвергая эти обвинения, профессора, в свою очередь, приводили факты другого рода, которые старательно замалчивали национал-демократы. А именно — уничтожение здесь евреев во время войны.

— Зачем нам с вами это в данной статье? — обвёл Савельев авторской весь кусок в гранках, где говорилось о Холокосте в Прибалтике. — Утяжеляем статью... Лишний повод для зацепки. И опять уходим от экономики. Лучше вернуться к этому отдельно.

— Без этого нельзя, Виктор Сергеич, — покачал головой Гольдман. — Люди должны знать прошлое сегодняшней демократии, которая выдвигает обвинения Советскому Союзу. Страны Балтии показали мрачный рекорд. Эстония стала единственной европейской страной, которая отпартовала Гиммлеру, что в короткий срок полностью “очистилась от евреев”. “Очистку” проводила пронацистская эстонская организация “Омакайтсе”, что переводится, как “Самозащита”. Сначала уничтожили местных евреев, потом — в концлагерях — привезённых из разных стран.

Но особенно постарались Литва и Латвия. Тут от коренного еврейского населения осталась одна десятая часть. В то время как в Бельгии и Нидерландах, где тоже был “новый порядок”, евреев уцелело больше. В Нидерландах — около четверти, в Бельгии — свыше половины.

— Почему такая разница? — удивился Савельев.

— Другое отношение местного населения, — ответил за коллегу Сергей Иванович Смирнов.

— Да, это стало важным фактором, — подтвердил Гольдман. — Здесь расправы с евреями начали не команды немцев, а Фронт литовских активистов. Самый кровавый погром произошёл в Каунасе. Он начался 24 июня — ещё до вступления немцев в город. Убийства продолжались несколько дней и в разных местах. Во двор одного гаража литовцы в гражданской одежде, с белыми повязками на руках и с винтовками, согнали несколько десятков евреев. Поставили группой. По одному стали подводить к молодому парню с ломом в руках. Тот с размаху бил ломом по затылку. Человек замертво падал. Стоящие поблизости литовцы, среди которых были женщины и дети, после каждого удара аплодировали.

— Невероятно, — проговорил потрясённый Савельев.

— Это свидетельства немцев, Виктор Сергеич. Другую часть обречённых убивали иным способом. Вставляли в глотку водяные шланги, и напор воды разрывал человека. Когда всё было кончено, молодой парень положил лом и пошёл за аккордеоном. Встав на гору тел, он заиграл литовский национальный гимн. Толпа дружно запела его.

Профессор Гольдман разволновался. Некоторое время он молча смотрел на обведённый Савельевым кусок текста в гранках. Потом заговорил снова:

— Только за первые пять месяцев фашистской оккупации в Литве убили около 220 тысяч еврейских мужчин, женщин, детей. А всего было уничтожено 95 процентов живших здесь до войны евреев.

Поэтому люди должны знать, что было. И про полицейские батальоны, активно сотрудничающие с гитлеровцами, и про сформированную в Эстонии дивизию СС. Всё надо знать, Виктор Сергеич. В Литве угрожают людям, которые были связаны с НКВД и КГБ. А в руководстве “Саюдиса” их немало. Кто такой глава “Саюдиса” Ландсбергис? Невероятно тёмная лошадка! Отец работал в пронацистском правительстве Литвы. Подписал благодарственное письмо Гитлеру. Бежал с немцами в Германию. В конце пятидесятых вернулся в Литву. Вроде бы должен быть судим. Но ему вернули дом, дали персональную пенсию. За что такие блага вместо виселицы? Говорят, работал на НКВД. И сын — это широко обсуждается в Литве — был давно завербован Комитетом госбезопасности. Люди обвиняют его... считают: “закладывал” товарищей и соратников. “Саюдисты” об этом наглухо молчат, а Советскому Союзу, посмотрите, будут выставять счета. Горбачёв, если так дальше дело пойдёт, чего доброго согласится. Доигрался, дрянь, в бескрайнюю демократию.

— Ладно. Попробуем оставить.

Савельев, как полагалось по технологии, отдал статью ответственному секретарю Захарченко. Через час тот позвонил по внутреннему телефону.

— Витя, спустись.

В кабинете Захарченко был Бандарух. Он курировал отделы внутренней политики.

— Где вы раскопали, Виктор Сергеич, этих мракобесов? — тускло спросил Бандарух. — Их рассуждения подходят для реакционных изданий. Посоветуйте им отнести свои мрачные причитания куда-нибудь, вроде “Советской России”, или в прохановский “День”.

— Против чего протестуют твои авторы, старик? — по-свойски улыбнулся Захарченко. — Против демократии. Против естественного права на национальное самоопределение. Ты же сам говорил — я хорошо помню твою потрясную фразу: рабы встают с колен! Вот они и встали. А теперь тебе это не нравится.

— Не нравится пожар, который разжигают в сухом лесу. Там што начинает твориться — в этих национальных самоопределениях? Всех, кто другой нации, под корень? Русских... Украинцев... Евреев... Боюсь, скоро надо будет говорить иначе: когда с колен встают рабы, живут, кто делают гробы.

— Оставьте ваши сомнительные афоризмы, — повысил голос Бандарух. — Статья у нас не пойдёт.

— Тогда я требую обсудить её на редколлегии.

Савельев хорошо знал свою редакцию. Когда-то слышная прогрессивной и даже либеральной, она к концу перестроечных лет стала напоминать корову на льду. Одной ногой опиралась на горбачёвское словоблудие, и хотя многие журналисты понимали, что это зыбкая опора, сдвинуться, из-за вьешейся привычки подчиняться, не имели решительности. Другой ногой пыталась нащупать твердь в нарастающем ельцинском максимализме, опасаясь при этом провалиться сквозь разрушаемую структуру льда. Третьим копытом традиционно, только теперь с большим сладострастием, была по антисемитизму, усматривая его даже в доказательной критике жулика с еврейской фамилией. И только четвёртая нога устраивалась, кажется, надёжнее всех. Её агенты, получая тайно в конвертах деньги, а на ухо конфиденциальную информацию, стали активно внедрять в сознание массового читателя положительные сведения о близком приходе финансового мессии — Международного валютного фонда, и о спасении им страдающих советских граждан.

Обсуждение статьи на редколлегии оказалось похожим на игру в одни ворота. Савельев защищал их, а выступающие старались забить мяч. На этот раз две коровьи ноги — “горбачёвская” и “ельцинская” — действовали согласованно. Бандарух, как куратор направления, сказал, что процессы, идущие сейчас в прибалтийских и других союзных республиках, соответствуют положительным оценкам Михаила Сергеевича “о росте национального самосознания у всех наций и народностей страны”. Говоря это, он, прежде всего, имел в виду свою Украину. Перехват власти “Рухом” волновал и радовал его, но Никита Семёнович строго контролировал себя.

Куратор экономических отделов Даниэль Родригес — главный демократ редакции, высказался против публикации с другой стороны.

— Борис Николаевич поддержал стремление граждан прибалтийских республик к самостоятельной жизни. Чего мы боимся? Дайте людям самим определить свою судьбу.

На замечание Савельева, что авторы выступают не против этого — они за цивилизованный развод, “дитя республиканской Испании”, как называли Родригеса в редакции, поскольку его привезли в Союз с тысячами других испанских ребятишек после тамошней гражданской войны, со вздохом ответил:

— Пусть уйдут с любовью. Деньги будем считать потом.

Но откровенней всех проявила позицию радикальной группы обозревательница отдела школ и вузов Окунева. Она не была членом редколлегии, однако потребовала у главного редактора, “в соответствии с демократическими нормами”, права высказаться. Главный был человеком мягким, интеллигентным. Его большая эрудиция, разносторонняя образованность, английский лоск в одежде — в молодости работал корреспондентом ТАСС в Великобритании — вызывали уважение. Но этих прекрасных качеств вполне хватало для другого времени. Времени необсуждаемых решений. Когда наступила пора горластых циников, агрессивных большевиков-демократов и слизняковости привычной власти, ценным стало другое качество. Твёрдость. Причём, не ломовая, а гибкая твёрдость клинка.

У главного редактора, как стал замечать Савельев, этой твёрдости не оказалось. Он полагал, что уступки отвязным наступателям — есть необходимая толерантность, а мягкость пластилина то же, что и доброта. Поэтому требование Окуневой он принял, как меньшее из возможных зол.

— Сначала я думала: зря мы тратим время на обсуждение статьи, — сказала она. — Реакционеры, русские шовинисты хотят снова вернуть страну в Гулаг — это видно невооружённым глазом. Поэтому разговор с ними должен быть короткий.

— К стенке авторов, — подсказал Виктор.

— Это ваши методы, Савельев! Ведь статью-то принесли вы! Значит, вы согласны с авторами. А что они предлагают? Оборот и без того пострадавшие народы Прибалтики. После недавней нашей публикации из Эстонии, где мы критиковали лидеров “народного фронта”, я получила оттуда несколько писем. Все они касаются русского населения. “Разве мы вас звали? — спрашивают люди. — Почему вы навязываете нам свои проблемы?”. И действительно. Мы почему-то хотим, чтобы чехи, венгры и поляки озаботились участью войск, которые мы наконец-то выводим, чтобы они ещё платили. И от прибалтов требуем сочувствия прямым потомкам оккупантов. Тем, чьи дети в военной форме недавно расстреляли мирных граждан в Вильнюсе при штурме телебашни.

Вера Григорьевна Окунева — невысокая, давно потерявшая стройность фигуры женщина, была в том возрасте, который можно определить, только заглянув тайком в паспорт. Одни давали ей “сорок с копейками”, другие — “пятьдесят с хвостом”. Когда она следила за собой: красила волосы, работала личным гримёром, надевала туфли на высоких каблуках — вполне сходила за подругу молодости. Если наступал период депрессии и разочарования, эта кое-как причёсанная тётка, в разношенных башмаках, с отвислой нижней челюстью становилась явной роднёй старости. Однако и в том, и в другом её состоянии одно не менялось на лице Окуновой — мерцающий злой требовательностью взгляд.

— Теперь я поняла, для чего мы обсуждаем эту статью, — сказала она и повернулась к главному редактору. — Её публиковать нельзя — ежу понятно. Но нам несут такие предложения, и мы, к сожалению, можем не уследить, как под прикрытием плюрализма мнений, свободы слова некоторые наши коллеги протащат свои антидемократические, шовинистические взгляды.

Это было как бы указание главному, на что ориентироваться. Но Савельев решил, что хотя главный хорошо знает его позицию, поскольку с критикой межнациональных отношений и разрушительного курса Горбачёва Виктор выступал теперь едва ли не на каждой “летучке”, он должен попытаться отстоять предложения профессоров-государственников.

— По поводу вывода наших войск. Хотя об этом в статье не говорится — это из другой оперы, но музыка одна. Я категорически против поспешного вывода войск из тех мест, где они квартируют. Да что я! Сотни тысяч людей не могут понять такого холуйства наших вождей перед... не знаю даже перед кем — ведь не американцы же требуют этого? К слову, об американцах. Они даже с Франко заключали соглашения о военных базах, а уж его-то режим сами испанцы признали диктаторским. Штаты свой персонал и свои базы выводят десятилетиями. Одну дивизию выводят несколько лет! А тут бросили всё и в считанные месяцы бежать. А куда бежать? А где жить? А где материалы брать? Вот какие вопросы надо задавать Шеварднадзе и его патрону Горбачёву. И, думаю, эти вопросы люди вправе задать. Теперь о статье и Прибалтике. Каждый из нас был там, и не по разу. Европа — да и только! А какой она была совсем недавно? Это што — им с неба упало? Они готовятся выставить нам счета. Учитывают, как мне сказали, всё. От экологии до репрессированных людей. А мы-то што? Их экономисты называют какие-то бешеные цифры. Вроде как десятки миллиардов долларов. Наши тоже посчитали.

— И прослезилась, — ехидно вставил Захарченко.

— Это они прослезятся. Двести с лишним миллиардов долларов составляют наши затраты! По самым скромным подсчётам. А нас призывают некоторые сердобольные (Савельев показал пальцем на Окуневу) забыть это, и к тому же быстрее выгнать оттуда ... нет, не только русских! Всех русскоязычных. По-вашему, это правильно, госпожа Окунева — мне трудно вас называть “товарищ”: Латвия — для латышей? Тогда почему в других республи-

ках не могут потребовать такого же? Нас вот здесь сколько? Одиннадцать человек. Насколько мне известно, четверо русских. Украинцы. Армянин. Поляк. Евреи. Вот вы, еврейка, согласны с лозунгом молдавских националистов: “Русских — за Днестр, евреев — в Днестр”? Или с другим там же: “Утопим русских в крови евреев!” А как бы восприняли лозунг: “Россия — для русских!”? Ведь “Грузия — для грузин!” вас устраивает, “Латвия — для латышей!” — даже в радость. А “Россия — для русских!” как?

— Вам надо в общество “Память”!

— А вам в общество нацистов! Гитлеровских!

— Перестаньте, Виктор Сергеич, — муркнул со своего места главный.

— Да вы просто “памятник”, Савельев! — закричала Окунева.

— Да, я — памятник, — насмешливо бросил ей Виктор. — Памятник интернационализму и объективности.

И сурово добавил:

— А вы будете памятником разрушения страны!

После такого скандального обсуждения статья, конечно, не была напечатана, и теперь Савельев пересказывал факты из неё при каждом удобном случае. Наталья Волкова не заметила, что диктофон у неё включен:

— Ой, я ж у вас не спросила разрешения! — смутилась она.

— Ничего страшного, — отмахнулся Виктор. — Дадите рядом с восторгами Сергея Николаича. Читателям будет интересно узнать, как на чужом горбу в рай едут. И как Ельцин помнит об интересах обираемой России.

— Он помнит! — с вызовом сказал Юзенков. — Только власти у него не хватает. Вот изберём президентом... Тогда посмотрите.

(Окончание следует)